андрей

МАКАРЕВИЧ

...Я вырос на ваших песнях

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«…Я вырос на ваших песнях» Эту фразу тысячи раз слышат популярные музыканты. Андрей Макаревич известен не только как музыкант, поэт и художник. Он преуспел в различных ипостасях, в том числе и на писательском поприще. Его книги, как и его песни, наполнены тонким юмором и точными наблюдениями, они передают атмосферу непосредственного общения с многогранным и талантливым человеком. В сборник «…Я вырос на ваших песнях» вошли новые рассказы Андрея Макаревича, впечатления от путешествий, размышления о жизни, красоте и любви, сказки и даже авторские рецепты, которые по сути тоже являются рассказами и превращают приготовление пищи в радостный и осмысленный процесс. Книга оформлена рисунками и фрагментами картин автора.

- Андрей Макаревич
  - ○
  - ○ СТЕРЕОТИПЫ НА ФОНЕ ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
    - ■
    - ■ Первая победа
    - ■ Про одиночество
    - ■ Заграница
    - ■ Чужие
    - ■ Про мечту
    - ■ Кино
    - ■ Зеркало
    - ■ Месть
    - ■ Цирк
    - ■ О времени
    - ■ Дилетант
    - ■ Грядущее
  - ○ НЕОБЪЕКТИВНЫЕ МЫСЛИ
    - ■ Эйфория
    - ■ Космос
    - ■ Мода и мода
    - ■ О музыке
    - ■ О риске
    - ■ Меня мучает один вопрос
    - ■ Про то, как умерла новогодняя сказка
    - ■ По поводу тайны
  - ○ СТРАНЫ И… СТРАНЫ
    - ■ На полпути к небу

- О безумии
- Про Олимпиаду
- Монголы не едят рыбу
- Икона
- О чуде

○ ЕСТЬ КОГО ЛЮБИТЬ
- Про любовь и влюбленность
- Надежда
- О Балерине
- О постели
- О страсти

○ ОПЯТЬ О ЕДЕ
- Опять о еде
- Про картошку
- Мясо
- Немного о борще
- Про помидоры
- Про грибы
- Свекольник
- Холодные супы
- Тандыр
- Фаршированная рыба
- Шашлык

○ НЕВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ
- Зимняя сказка
- Вилка Зина
- Гитара
- Глафира
- Сказка про деревянную палочку
- Сказка про то, что самое главное
- Сказка про сардинку
- Сказка про пятый палец
- Сказка про одну щуку
- Шампанское
- Про Новый год

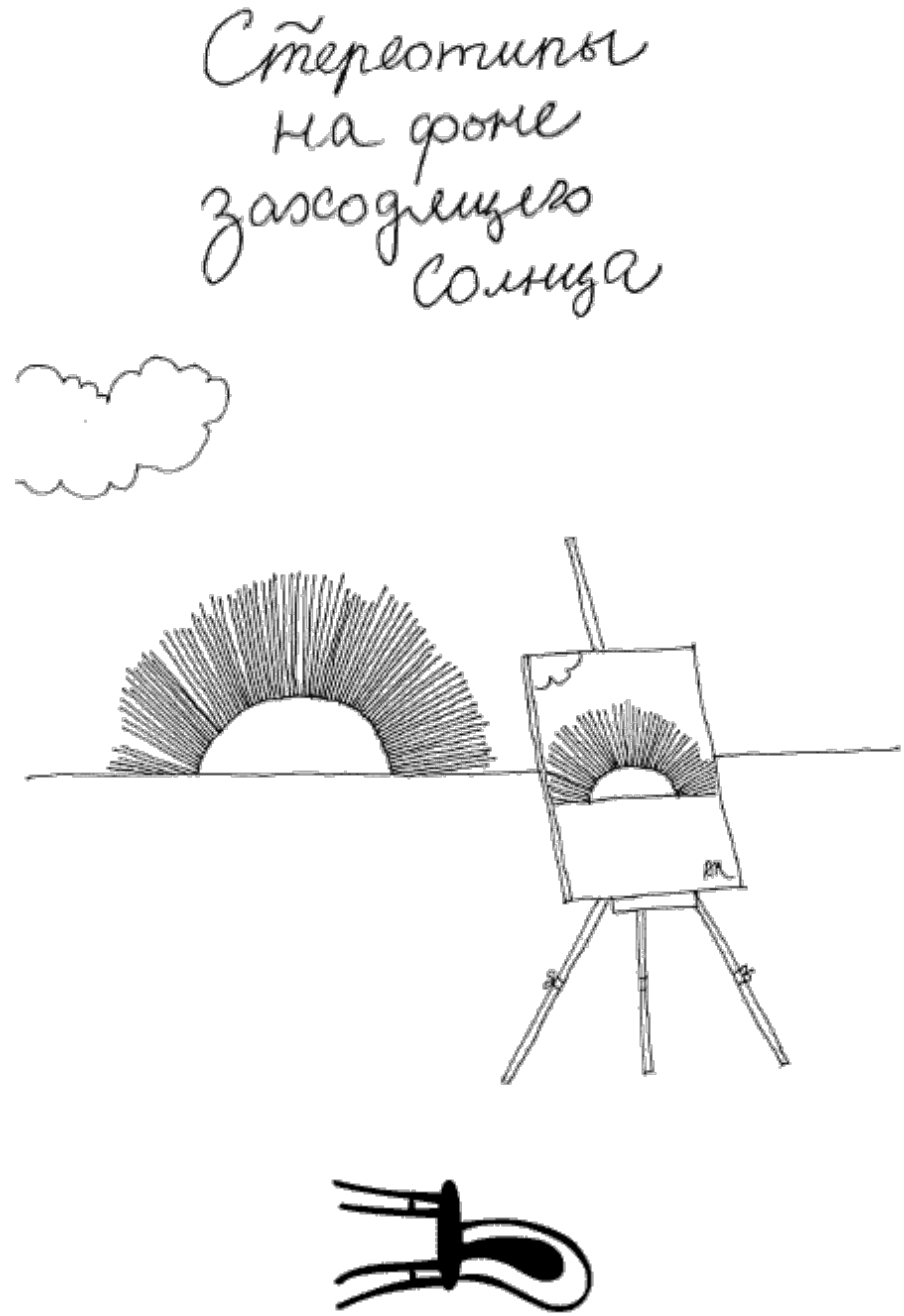
○ О КРАСОТЕ

Андрей Макаревич
…Я вырос на ваших песнях

андрей
МАКАРЕВИЧ

...Я ВЫРОС НА ВАШИХ ПЕСНЯХ

СТЕРЕОТИПЫ НА ФОНЕ ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА



Первая победа

Один мой товарищ, склонный к математическим исследованиям по любому поводу, подсчитал, что родители мои зачали меня аккурат в день кончины Вождя и Учителя всех народов — или прямо где-то около того. Подозреваю, что не от горя — от горя такими вещами не занимаются. Мамы и папы давно нет, и пролить окончательную ясность на это событие я уже не смогу. Может быть, конечно, и совпадение. Может быть.

В пять лет я был низкорослым и дохлым ребенком. Ненавидел еду. «Жизнерадостный рахит», — звала меня мама. Будучи зацикленной на моем слабом здоровье, она — медицинский работник — постоянно таскала меня по своим знакомым — тоже медицинским работникам. Здоровья моего это не укрепляло.

Большую часть года меня нещадно кутали. Как сейчас помню: лифчик с резинками и толстыми чулками, шерстяные рейтузы, байковые шаровары, шерстяные носки, валенки с галошами, сверху майка, байковая рубашка, вязаный свитер, на голову сначала платок, как на шоколаде «Алёнка» (предмет особенной ненависти), потом меховая шапка-ушанка, шубка из непонятного зверя мехом наружу, варежки на резиночке через рукава. Поверх всего плотно наматывался шарф, окончательно останавливавший дыхание. В этом скафандре меня выводили в наш дворик на Волхонке и пускали на снег. Стоять и кое-как передвигаться я еще мог. Но если падал — подняться без посторонней помощи было уже практически невозможно.

А дворик наш был довольно шпанским — как и все московские дворики того времени. В каждой второй семье кто-то сидел — или недавно вышел по амнистии. Приблатненность боготворилась и была объектом для подражания. К тому же дворовые мои друзья были на год-два старше меня и куда

здоровей и крепче. Меня уже тогда интуитивно не тянуло в сторону блатной романтики, и иногда я получал по шее — слегка, не со зла. Смешно же перевернуть на спину майского жука, и смотреть, как он будет корячиться.

А глаза у меня в детстве, надо сказать, постоянно были на мокром месте. Зареванный, я приходил домой. Бабушка моя (настоящая аидише бабушка, судебно-медицинский эксперт по убойным делам на Петровке, 38, безусловный командир в нашей семье) садилась напротив меня, строго глядя в глаза, и у нас происходил такой диалог:

— Ну, если к тебе еще кто-то пристанет, ты что будешь делать?

— Плакать…

— А ты в следующий раз подойди к нему, дай как следует сдачи! Понял?

— Понял…

— Так что ты будешь делать, если к тебе еще раз кто-то пристанет?

— Плакать…

А дальше случилось вот что. На мое пятилетие бабушка подарила мне двенадцатитомное собрание сочинений Жюля Верна. В темно-серых коленкоровых переплетах, с тиснеными корешками, эти книги потрясающе пахли. Бабушка купила мне книги на вырост (она все мне покупала на вырост — кальсоны, носки, все исключительно полезное.) С книжками, однако, на вырост не получилось — читать я научился рано и проглотил их довольно быстро.

Особенно очаровал меня роман «20 000 лье под водой». Уже само название: лье — это сколько? Капитан Немо, профессор Аронакс, канадец-китобой Нед Лэнд, невероятный «Наутилус»… (удивительно, с тех пор не перечитывал — все помню!) Похоже, меня уже тогда тянуло под воду. На титульном листе — черно-белая иллюстрация под фотографию: капитан Немо на мостике со свирепо-вдохновенным лицом на фоне грозового неба. Капитан похож на артиста Дворжецкого, которого я увижу лет через тридцать. Как же мне хотелось к ним в путешествие!

В общем, сидя во дворе на лавочке, я вдруг принялся пересказывать пацанам содержание романа. Нет, «пересказывать содержание» — это на уроке литературы. А тут роман просто пер из меня. Я как бы писал его заново — сам.

Повествование произвело эффект разорвавшейся бомбы. Парни слушали не дыша, только иногда кто-то шепотом восклицал: «Врешь!» На него шикали, и я продолжал. На дворе стемнело, и мама увела меня домой, не дав закончить.

С этого момента отношение ко мне волшебным образом изменилось. Каждый день пацаны стучали в окно нашей коммунальной кухни и требовали меня во двор — рассказывать про капитана Немо. Они готовы были слушать эту историю бесконечно, но я не мог повторяться, и роман обрастал новыми и новыми подробностями. Авторитет мой взлетел на невиданную высоту. И чтобы с тех пор меня кто-то толкнул — да вы что?

Затоптали бы.

А ведь если разобраться, это и была победа, правда?

Про одиночество

Никогда не забуду ощущения того бешеного, невероятного восторга, когда я понимал, что родители сейчас уйдут на работу, няни почему-то нет и я остаюсь дома один! О, как я скрывал это чувство! Нет, я обожал своих родителей, с нетерпением ждал их возвращения домой, но ведь это совсем другое! Целый день! Один! Если, конечно, ненавистная няня не придет.

Мы живем в коммуналке на Волхонке, мне почти пять лет, и в моем распоряжении целых две наших комнаты, наполненных интереснейшими вещами. Можно поставить стул на кровать и добраться до огромных папиных книг по искусству — они стоят на верхних полках специально, чтобы я туда не лазил. Книги тяжеленные, с цветными иллюстрациями на всю страницу и совершенно особенным запахом. Какие-то вельможи, толстые голые тетки вперемежку с рогатыми козлоногими мужиками, строгие лица святых. Листать это можно было бесконечно. А ящички! Чего только не было в ящичках комода! Настоящие шприцы в хромированных коробочках, стетоскоп, лекарства, куча старых фотографий, папин орден… Я забывал все на свете. Было ли это первым опытом одиночества? По большому счету, конечно, нет. Скорее первый опыт вседозволенности. Мама, кстати, с ее невероятной интуицией, всегда замечала ящик, в котором я рылся, и мне влетало. Это по поводу вседозволенности.

А вот в 16 лет я уже вовсю писал песни про одиночество. Ужасные, надо сказать. А кто не писал? Бурное завершение полового созревания, отягощенное чем-нибудь безответным (нет, ну а как?), первые размышления о вечности, смерти и бренности мира, навеянные, скажем, Леонидом Андреевым. В одиночестве было нечто высокое, бесконечно печальное и приятно щекочущее сердце. Это правда было одиночество? Нет. Это были банальные песни про одиночество. Слава Богу, никто не помнит.

А ведь я и потом очень любил ощутить себя в одиночестве. Я отправлялся на рыбалку на два-три дня. Чаще, правда, с парой

друзей, и это тоже было здорово, но один — это совсем другое чувство. Я уезжал ночью с Савеловского вокзала за Калязин — Красное, Высокое, там и станций-то никаких не было, просто стоянка поезда три минуты. Огромная Волга, бескрайний залив, неухоженные луга, леса на горизонте — ни души. Я заряжался от этого пространства, от земли и воды как аккумулятор. Я слышал голоса зверей и птиц, беседовал с камнями и рыбами, и даже походка делалась у меня совершенно другая — это мне сообщила моя первая жена, я однажды взял ее с собой. Это было уже совершенно осознанное и необходимое мне одиночество, и я возвращался в Москву другим человеком — мне казалось, в новой коже.

Все это легко объяснимо — во-первых отпадает необходимость надевать на себя какие-то состояния, маленькие условные необходимости — а это в социуме делают все, как бы они ни уверяли себя в собственной естественности. Во-вторых, моя работа предполагает постоянный контакт (ненавижу слово «общение») с большим, иногда огромным количеством людей. Каждый из них, хочет он этого или нет, отъедает от тебя по кусочку — в той или иной степени. Многие при этом дают взамен свое, но тебя-то от этого больше не делается. Восстанавливаются все по-разному. Я — на дикой природе.

Всемирная организация PADI (кто не знает — самая многочисленная дайверская организация) несколько лет назад (не знаю, как сейчас) предлагала профессиональным инструкторам такой вид работы — тебя высаживали на какой-нибудь маленький восхитительный необитаемый остров — в Карибском бассейне или в Океании. Тебе полагался запас провизии, медикаменты, радиосвязь с миром, подводное снаряжение — все необходимое. В задачу твою входило обследование подводной части острова, с тем чтобы найти наиболее красивые и интересные места (это называется «дайв-сайты») и иметь возможность сводить туда желающих, если вдруг кто приплывет. Обычно никто не приплывал — ты просто составлял описание подводной местности. За работу эту не платили. И оставался ты там один, скажем, полгода. Или год. Я много раз собирался. Не смог отпустить себя на такой срок.

У всех видов одиночества, описанных выше, есть одно приятное качество — управляемость. Это одиночество, которое ты устраиваешь себе сам. Пока тебе надо. Но есть совсем другое одиночество — оно может наброситься на тебя из-за угла, как собака, и нет от него спасения.

Однажды я оказался на Манхэттене — не в первый и не в пятый раз. Мы снимали цикл программ про путешествия, и я

почему-то приехал туда за несколько дней до съемочной группы. Я обожаю Манхэттен, у меня там масса друзей. И первых два дня я был совершенно счастлив. А потом вдруг оказалось, что я повидал всех, и им надо работать и вообще жить своей американской жизнью, а мне, в отличие от них, совершенно нечего делать, и я не хочу ощущать себя обузой. Я бродил по городу в полном одиночестве, и мой любимый город на глазах менялся — он становился мрачным, чужим и равнодушным. И даже веселье его — а вечером Манхэттен веселится, — даже веселье его показалось чужим и неприятным. Это было совершенно новое и очень сильное чувство — чувство неуправляемого одиночества. Казалось бы — сходи в кино, сходи в театр. Сходил. Сходи в музей. Был во всех интересующих меня музеях, причем неоднократно, не хочу. Пойди выпей! Не пьется.

А ведь каких-то три дня!

И как же я обрадовался, когда подъехали наконец мои съемочные негодяи, и я понял, что на глазах возвращаюсь в свое обычное состояние работы — от которой очень устаю и которую очень люблю. И Манхэттен снова улыбнулся мне.

А если говорить о настоящем одиночестве — вот как я это вижу: мы все — много-много, человек же, в сущности, стадное животное — плаваем по поверхности жизни. Мило беседуем, собираемся в стайки, шутим, плещемся даже. Мы, как правило, не замечаем, когда кто-то начинает медленно тонуть. Он пока не жалуется — он еще даже не понимает, что с ним происходит. А мы, как правило, не замечаем — он же не кричит, не зовет на помощь. Твиттер, Фейсбук и прочий Интернет очень помогает не замечать. А он уходит все глубже. Можно спасти? Можно. Но тут мало быть просто внимательным — он будет отбиваться и еще быстрее пойдет ко дну — может, именно вы ему опротивели. Только одно поможет — надо обязательно его любить. Тогда есть реальный шанс вытащить.

Вы его любите?

Заграница

Заграница. А ведь нет такого слова в русском языке. Сегодня. На данном, скажем, этапе исторического развития. Пока. Но было, было — вы уж мне поверьте. И по моим ощущениям, было это совсем недавно, во времена моей юности. Во времена Советского Союза.

«Заграница» — это был весь мир за пределами этого самого Советского Союза, лучшей страны на планете. И была эта заграница неизведанна и недостижима, как Марс. Вернее, делилась заграница на две части — лагерь соцстран, друзей нашей державы, и на капстраны. Капстраны являлись потенциальными врагами. И если на протяжении твоей жизни посетить какую-либо страну из первого списка возможность теоретически присутствовала — при условии твоего безупречного поведения, то про список второй думать вообще не следовало. Да нет, ездили великие советские режиссеры и писатели на международные фестивали, балет Большого театра и цирк покоряли мир, всевозможные партийные делегации представляли страну за рубежом — но ты-то кто такой?

В кинотеатрах перед сеансами иногда показывали журнал «Иностранная кинохроника». В странах победившего социализма под радостную музыку строились заводы и фабрики, возводились жилые массивы. Потом музыка менялась на тревожную и даже страшную — в капстранах происходили сплошные беды: землетрясения, пожары, забастовки. Было непонятно, как они вообще еще живы.

Если же на тебя вдруг обрушилось нечаянное счастье, и замаячила перед тобой перспектива посетить заграницу, то предстояло тебе следующее: сначала, собрав неимоверное количество бумаг с подписями и печатями, получить в ОВИРе загранпаспорт — ох, не у всех, не у всех был! Потом наступал момент проставления визы — не въездной, нет, — выездной. Тебе следовало получить одобрение комсомольской и партийной

организации с места твоей работы — не возражаем, дескать, против поездки товарища такого-то: политически грамотен, морально устойчив, нареканий не имеет. И вот со всем этим ты шел на заседание выездной комиссии райкома партии. Там принималось окончательное решение — достоин или нет (конечно, все твои документы проходили еще через отдел ГБ, где их рассматривали сквозь особую лупу, но это делалось без твоего участия.)

Так вот, выездная комиссия — это было самое страшное. Они могли задать тебе любой вопрос из области истории — скажем, в каком году состоялся семнадцатый съезд Коммунистической партии? И если ты терялся, тебе мягко говорили: ну как же так? Вот поедете вы за границу, выйдете на улицу, а к вам подойдет кто-нибудь и спросит — в каком году был семнадцатый съезд партии? А вы не знаете. Это же позор! Нет, вы не готовы, идите. И рубили через одного. А счастливцы, проскочившие эту экзекуцию, бежали в специальное место менять рубли на иностранную валюту в размере суточных — мизерную сумму, но, правда, по волшебному курсу — и, еще не веря своему счастью, ехали, скажем, в Болгарию.

Интересно — как ставилась заграничная виза в паспорт, я вообще не помню. Помню, что как-то без твоего участия.

Еще помню, как я, мокрый от ужаса и безысходности, стоял, вытянувшись, перед этой выездной комиссией. В голове проносились вереницы дат, фамилий партийных деятелей и цитат Брежнева. Конечно, уже за одну прическу меня выпускать никуда не следовало, и члены комиссии это отлично понимали. Особенно свирепствовала неприятно молодая тетка в очках — на дужках очков располагался наглый зайчик, эмблема «Плейбоя». Я уже решил, что если меня зарубят, я публично опозорю тетку перед комиссией — открою им глаза на то, какие у их сотрудницы идеологически невыдержанные очки: ни она, ни они даже не представляли себе, что это за зайчик.

Я ответил на все вопросы. Непостижимым образом. И поехал в Польшу. Тетка осталась жить. СССР, год тысяча девятьсот семьдесят восьмой.

Сегодня подрастает уже второе поколение, которое не только не нюхало этой вони — они даже не поймут, о чем я тут пишу. Огромное количество молодых людей, в сознании которых путешествие в любую точку планеты изначально возможно — были бы деньги. Они не знают слова «заграница».

А я всю свою жизнь считал, что наивысшее счастье — это свобода. Свобода самому решать. Говорить. Делать. И передвигаться по миру — как и куда тебе хочется. И половину

своей жизни я этой свободы был лишен. Да и от второй половины не ждал ничего нового. Спасибо Михаилу Сергеевичу.

И сейчас я, наверно, больше всего хочу, чтобы эти миллионы молодых людей так и не узнали слова «заграница». Не надо.

Чужие

Боже, какое отвратительное слово «Чужой»! «Ч» и «Ж», почти не разделенные еле слышным «У», скрежещут друг о друга как ржавые консервные банки. И где-то вдалеке — эхом горя и безысходности — «Ой…»

Чувство древнее, первобытное, однако — удивительно! — неискоренимое. Вот наше гордое племя. И наши отцы, и наши деды жили здесь. Но мы окружены чужими. Они охотятся в наших лесах, ловят нашу рыбу, портят наших жен! Да и морды у них раскрашены не по-нашему! Только война! А эти самые чужие толкуют между собой примерно так — мы живем в этих краях сотни лет. А эти чужаки заняли самую лучшую поляну в самом лучшем лесу на самой рыбной реке, и баб у них в два раза больше, чем у нас, и нос до потолка, а сами даже даже морды себе разрисовать толком не умеют! Придется поучить… И что тут скажешь? Бросьте копья и идите вы направо, вы налево? Как же, послушают…

В детские годы (назовем их годами развития) все так или иначе проходят эту древнюю фазу. Мы — точно проходили. В нашем дворе на Волхонке мы все были свои. Независимо от возраста и умственного уровня. Вплоть до последнего чмо. Его нельзя было давать в обиду — чужим. Сами-то мы могли обижать его сколько угодно — надо же кого-то обижать? Но мы сами — это совсем другое дело. Это не считается. Очень сильное, стадное чувство. Сидели кружком, планировали, как пойдем бить чужих из соседнего двора. При этом краешком головы каждый понимал, что это скорее приятные фантазии — никуда мы не пойдем, в соседнем дворе и пацанов побольше, и постарше они и поздоровее. Я в свои пять лет уже догадывался, что мы зацикливаемся не на лучшем решении вопроса, но молчал — очень не хотелось считаться трусом.

Внутри двора играли в войну. Надо было разделить своих на

бойцов Красной армии и немцев — то есть на своих и чужих. Тянули жребий. Мой друг Вовка Деготь запросто мог зарыдать, если ему доставалось исполнять немца. Немцы в кино были все как один крючконосые, очень некрасивые и глупые. И конечно, в конце игры их всех надо было победить. Вовку убеждали, что все это понарошку, и он шел, утирая сопли.

Тот же двор, Санькина бабушка тихонько внучку на ушко: «Ты с Борькой-то поосторожней — они явреи!»

В одна тысяча девятьсот шестьдесят девятом году «Машина времени» дала первый выездной концерт — в школе номер четыре. Концерт прошел на ура, мы шли, возбужденные и счастливые, через темный пустырь, таща на себе усилители и гитары. Мы вели себя очень неосторожно. Из темноты вкрадчиво поинтересовались, с какого мы района. Когда выяснилось, что мы не с их района, пацаны вдруг нарисовались вокруг нас и я тут же огреб здоровенной доской по голове — да так, что временно лишился рассудка. Остальным тоже досталось. Интересно, что на наши гитары и прочую музыкальную утварь никто не покусился — важно было просто навалять чужим. В чистом виде.

В Нью-Йорке негры поселились в Гарлеме (были они в те годы еще самыми настоящими неграми, а никакими не афроамериканцами). Им построили дармовые муниципальные дома, но чуда не произошло — подарки, упавшие с неба, не ценятся. Черные ребята принялись гадить под себя и вокруг, бить стекла, размалевывать стены и вообще развлекаться по своему разумению. Случайно заехавший на территорию автомобиль разбирался за десять минут — независимо от того, отошел хозяин куда-то или оставался внутри. А совсем недалеко — прямо за Централ-парком — располагались чужие. Не, ну а как — во-первых, белые, во-вторых, живут хорошо. Кто же они еще? То, что хорошая жизнь требует приложения некоторых усилий, в голову не приходило. Пусть дураки работают.

Сейчас, конечно, многое изменилось. Теперь это просто небогатый и не очень чистый район Манхэттена. И сюда уже можно спокойно заехать без риска для собственной жизни — например, послушать воскресный спиричуэлс в церкви. Или зайти вечером в джазовый клуб. Что произошло — массовое сознание выросло или просто время все сглаживает и лечит?

Ничто меня не переубедит в том, что парадигма «наши — чужие» стойко существует либо в детском сознании (и то не во всяком), либо в сознании дегенератов. Ладно, без хамства — в сознании недоразвитом. В таком сознании, особенно если оно еще массовое, эта идея прочно пускает корни — только кинь горсточку семян, и уже неважно, кто там чужие — фашисты,

жидобандеровцы, кавказцы, либералы — вождю видней. Мочи их! И мы тут все будем свои.

А ведь Всевышний создал нас не своими и чужими, правда? Просто немножко разными — так у него получилось. И что теперь?

Вот по лесу третьи сутки идет инопланетянин. Как у Валерия Попова — марсианец. Он три дня назад потерял свой корабль, от еловых шишек у него изжога, а ни одной бабочки он так и не поймал. Он очень испуган, замерз и хочет есть. Он ведь чужой по определению? Или как?

Все войны на планете начинались с того, что ловкие негодяи объявляли соседей чужими. А кто же без этой веры пойдет их убивать? Своих соседей-то? И похоже, конца этому не видно. На компьютерах тыкать кнопочки научились, а вот с сознанием беда.

Что делать-то будем?

Про мечту

Вообще, я совершенно не мечтательный человек. И вопрос журналистки: «Скажите, о чем вы мечтаете?» — вызывает у меня приступ легкого бешенства. Я не мечтаю, ангел мой, — я строю планы. Осуществимые. И потом занимаюсь их осуществлением. Вот когда потеряю всякую способность что-либо делать — тогда лягу на диван и стану мечтать. В самом призыве помечтать есть что-то провинциально-девичье, правда? Ну ей-богу, не мужское занятие.

Но это у меня так сейчас. Интересно, сколько уже лет — двадцать, тридцать? А раньше? А совсем давно? Так-таки никогда ни о чем не мечтал? Да нет, мечтал, конечно. Роюсь в памяти, пытаюсь вызвать картинки детства. Что там такое было?

Ну, естественно, первыми объектами мечтаний были разные вожделенные предметы — то, что у кого-то есть, а у тебя нет. Скажем, самодельный самокат: две дощечки, соединенные дверной петлей, два подшипника вместо колес, планочка поперек — руль. Как же он восхитительно гремит, когда несется под уклон по неверному асфальту! Такие самокаты у пацанов в каждом дворе. В нашем дворе счастливый обладатель один, он добрый малый и дает всем покататься, за самокатом выстраивается очередь, я — самый маленький и всегда оказываюсь в конце. Я хочу самокат до боли в сжатых кулачках. Свой. Чтобы не унижаться и не выстаивать эту ежедневную бесконечную очередь. Я извел отца, и он сделал мне самокат. Счастье было ослепительным, но, как ни странно, недолгим: я довольно быстро накатался всласть, удовольствие от очереди, которая теперь уже стояла ко мне, оказалось не таким уж и удовольствием. Я даже не помню, куда этот самокат в конце концов делся — кажется, я его кому-то подарил или сменял на свинчатку.

Потом — уже позже — были ковбойские револьверы: кольт, смит-вессон. Не могу сейчас понять, откуда взялось такое помешательство — фильм «Деловые люди» появился, кажется,

чуть позже. Ах, ну конечно — «Великолепная семерка»! Детям туда было нельзя, но мама надела широкий сарафан, и, проходя мимо контролера, я залез под него — под сарафан, разумеется, — даже нагибаться не пришлось. Револьверы замаячили в воздухе еще до их появления на экране — в музыке, в особом оранжево-коричневом тоне картинки на экране — она была цвета прерий. Это выглядело очень непохоже на серо-зеленоватый цвет советского кино, снятого на пленке «Свема» Шосткинского завода. Первый кольт, кстати, появился в кадре практически сразу после титров.

Отец ехал в командировку, и я тщательно рисовал ему, как должен выглядеть настоящий ковбойский револьвер — чтобы барабан крутился и чтобы на рукоятке обязательно была оттиснута голова лошади или индейца (откуда я все это знал?). Через месяц отец возвращался, я, дрожа от нетерпения, нырял в чемодан, откапывал там сверкающее чудо, в восторге носился с ним по квартире, палил во все и вся, безуспешно пытался крутить на пальце. Ковбойское умопомрачение длилось года три — сколько мне отец перевозил этих игрушек? Где они теперь?

А потом все мое внутреннее пространство в одночасье заняли Битлы, и объекты мечтаний резко сменились: теперь это были электрогитары, струны, усилители и динамики. Когда я сейчас понимаю, что отец все свои суточные (то есть всю валюту, которая у него была в поездке) тратил на мои рок-н-ролльные прихоти — а ведь еще были мама, младшая сестра, родственники, — я не знаю, как описать то, что я чувствую. Себе отец тоже ничего не покупал, а кормился консервами из чемодана и заваривал чай с помощью кипятильничка, как, впрочем, и все советские командированные. Хотите обратно в совок? Ничего, уже скоро. Удивительно, что при всем религиозном фанатизме в отношении битловских пластинок я так ни разу и не попросил привезти хоть одну: то, с помощью чего извлекают звуки, было важнее.

Однако все это были мечты, скажем так, сбыточные. Параллельно сознание мое рисовало совершенно нереальные картины: вот мы с Жак-Ивом Кусто надели серебряные гидрокостюмы и готовимся к погружению в Красное море — под нами в синей глубине носятся сотни акул. Кусто дает мне последние наставления и смотрит на меня одобрительно, по-отечески. Или вот я в компании полковника Перси Фосетта и двух его сыновей продираюсь сквозь лианы дождевого леса Амазонии: мы сбились с маршрута, уже пятый день экономим провиант — по одной сардине и куску сахара на брата в сутки, а по нашему следу, кажется, идут индейцы. Нас нещадно кусают москиты, и колючки впиваются в нашу одежду.

Еще было невероятно сладостно представлять себя одним из Битлов — Джорджем Харрисоном. Именно им, потому что барабанщиком я себя не видел, следовательно, Ринго отпадал, а с Ленноном и Маккартни хотелось пообщаться в равной степени. Может быть, что-нибудь сочинить вместе. Побыть немножко младшим товарищем. Хотя бы один день.

И знаете, что интересно: ведь практически все сбылось. Почти. И я плавал в обнимку с акулами, правда, что поделаешь — без Кусто, и ходил по джунглям Амазонки — увы, без полковника Фосетта, и записывался на Эбби Роуд, в той самой битловской студии — правда, уже без Битлов. Я, наверно, очень счастливый человек.

И я уже давно не мечтаю. Я строю планы. И у меня их множество. Впрочем, нет — мечтаю, конечно. О том, чтобы все мои планы однажды осуществились.

Ну, хотя бы большая часть.

Кино

Довольно рано кино сделалось одним из важнейших видов искусств в моей жизни. Каковым оно являлось и применительно ко всему советскому народу — тут Владимир Ильич все точно подметил. Не, ну а куда ходить? Не в театр же!

Безуспешно роюсь в своей памяти, пытаюсь вспомнить — когда я впервые оказался в кино, и что это был за фильм? Дома на Волхонке у нас на серванте стоял телевизор КВН с экраном величиной с записную книжку и двумя программами — а больше и не было. По телевизору иногда показывали фильмы, но, конечно, никакое это было не кино. А вот через дорогу находился Дом культуры и техники, и там показывали самое настоящее кино — утренний сеанс 10 копеек, остальные по 30. Там я посмотрел потрясающий фильм «Последний дюйм» десять раз за шесть дней. Если бы мама узнала — она бы отвела меня к врачу. Но это было не первое посещение кино в моей жизни.

А может быть, это было на юге, в Гурзуфе? Летний открытый кинотеатр назывался, кажется, «Слава». Дают «Великолепную семерку», с детьми на нее, конечно, нельзя, но у мамы широкий пестрый сарафан, и когда мы подходим к тетке, отрывающей контроль на билетиках (они напечатаны на синей промокашке), — я прячусь под мамин подол. Я был небольшой ребенок. Интересно, «Великолепная семерка» запомнилась прежде всего цветовой гаммой — рыже-терракотового цвета, цвета прерий. Советские фильмы, снятые большей частью на пленке «Свема» Шосткинского завода, были все мертвенно-зеленоватые. Стоп — значит, я до этого уже был в кино.

А может, это был фильм Жак-Ива Кусто «В мире безмолвия»? Кусто впервые взял камеру с цветной пленкой под воду в Красном море и снял документальный фильм. И этот фильм взорвал человечество. Это было равносильно репортажу с Марса. Фильм крутили в кинотеатрах всего мира как художественное кино, и он бил все рекорды. Как славно, что Кусто оказался другом Советского Союза — я ведь мог его фильм и не увидеть тогда, и мои жизненные приоритеты выстроились бы иначе!

А Московский кинофестиваль? Нет, я не смогу сейчас объяснить, что это было такое. Раз в два года ты получал возможность заглянуть за железный забор, увидеть лучшие фильмы мира! И эта возможность была единственной — все остальное время в кино шли фильмы отечественные (крайне редко — французские и польские, еще реже итальянские и американские. Это я не к тому, что наши фильмы были плохие — случались и отличные. Просто я всегда мечтал увидеть мир. Сейчас это невозможно себе представить. Пока.). Я сказал — получал возможность? Ни черта ты не получал — просто она существовала гипотетически. Я не знаю, где и как распределялись книжечки с билетами на фестивальные фильмы — две книжечки на две недели в какой-нибудь один кинотеатр, но все их где-то как-то доставали. Причем за сеанс показывали два фильма — скажем, один венгерский и один английский. У кинотеатров стояли толпы. Отдельно кучковались мутные ребята с оттопыренными карманами — книжечки! В разные кинотеатры! Это была настоящая биржа — шел активный обмен билетами, причем купить было гораздо сложнее, чем обменять — например, «Ударник» на «Октябрь». Еще никто ничего не видел, но все уже обсуждали — что смотреть обязательно, а что можно и пропустить. Я, помню, однажды посмотрел шесть фильмов в течение дня.

А Дом кино? Попасть в ресторан Дома кино было куда круче, чем в ЦДРИ, не говоря уже о ЦДЛ — если у тебя нет красной книжечки члена Союза кинематографистов, и ты не Смоктуновский и не Ефремов. А ведь они все там! Сидят! А если нет — значит, вот-вот придут! А вон — обязательный кожаный пиджак, шерстяная водолазочка — режиссер! Небожители!

Сводил девушку в Дом кино — твоя. Не обсуждается.

Удивительно, как с тех пор угас ореол богоизбранности вокруг людей, делающих кино.

А меня к ним всегда тянуло — страшно хотелось увидеть кино с обратной стороны — как это делается? И может быть, поучаствовать в силу способностей. Причем изображать из себя артиста в кадре как раз желания не возникало (хотя пару раз

уговорили). Нет, просто хотелось делать это удивительное дело в компании интересных людей, владеющих в совершенстве каждый своей профессией, вместе придумывать мир, который завтра все увидят на экране.

Что ж, многое осуществилось. И несмотря на некоторые неизбежные разочарования (а жизнь — вообще последовательная цепь разочарований), я кино так и не разлюбил.

Сегодня то, что мы считали кино, почти исчезло с экранов. А то, что снимается за сотни миллионов в Голливуде, больше напоминает рекламу компьютерных игр и прочих сопутствующих товаров. А хорошее кино постепенно перебирается в сериалы. Не во все. Не всегда. Это не хорошо и не плохо — просто так обстоят дела. Так что это не нытье в духе «А вот в наше время…» — просто мир меняется, хотим мы этого или нет.

Но ведь этим он и интересен, верно?

Зеркало

Вот удивительно — воспоминания о фильмах Тарковского у меня намертво связаны с временем, когда эти фильмы появились. Когда я их увидел. Про другое кино я это сказать не могу, хотя Тарковский — не единственное сильное киновпечатление юности. Хотя вообще любой художник — это прежде всего время. Художник говорит о вечном, но говорит языком своего времени — забавно, правда?

«Иваново детство» прошло мимо меня — я тогда учился во втором классе и главным моим фильмом был «Последний дюйм». А вот «Андрея Рублева» уже помню отлично — кинотеатр «Мир», ажиотаж — как, вы еще не смотрели?! И потом — разговоры, разговоры за бутылкой. Слухи, небылицы. «Там знаешь сколько всего вырезали? Там целое стадо живых горящих коров было — все вырезали! Ты вообще понял, что он хотел сказать?»

Андрей Тарковский был не самым любимым режиссером у советской власти (хотя — с боями, со скрипом, но снимал, на государственные деньги, и прокат был, между прочим — какой-никакой, а был, чудны дела твои, Господи). Что им так не нравилось? Вот «Рублев» — историческое кино, вполне даже патриотичное. Ну ладно — недостаточно ярко показан героизм русского народа в борьбе с татаро-монгольским игом. И про бога многовато. И иконы в конце. Ну и что? Про художника же. Нет, не нравилось другое: талантливый, яркий человек, а транслирует не наши идеи, а свои собственные. Все вон транслируют что положено, а он — свои. Самый умный, что ли? Всем нельзя, а ему можно?

Но «Рублев» еще ладно — он все-таки вписывался в каноны. А вот «Зеркало» — это была настоящая бомба. Во всяком случае, в

моем сознании она тогда взорвалась. Да, мы все были неподготовленными. А где нам было готовиться? Кинотеатр «Иллюзион», кинолекторий раз в месяц, киновед Марк Аронович, страшные черно-белые копии иностранных фильмов — видимо, для служебного пользования, и ты еще в этот кинолекторий попади! Конечно, никакого «другого кино» мы не видели.

Помните, в прологе — заикающийся мальчик, гипноз, и вдруг — «Могу свободно говорить!» Вся ткань «Зеркала» — неровный и абсолютно свободный разговор о самых главных вещах. О бесконечности жизни. И неизбежности смерти. И о родителях, давших тебе эту жизнь. И о войне. И о печали, вечной спутнице бытия. И о первых ничего не значащих картинках жизни, врезавшихся в детскую память и почему-то оставшихся в ней навсегда.

Магнетическая, красивая какой-то неземной красотой Терехова. Ветер, увиденный глазами оператора Рерберга, — никто ничего подобного с тех пор не снял.

Стихи Тарковского-старшего, огромного поэта, я тоже впервые услышал в «Зеркале».

Ничего тебе в «Зеркале» Тарковский не рассказывает. Он вспоминает — казалось бы, обрывочно, бессистемно, вроде бы сам для себя. Садись, подключайся.

Фильм шел пятыми экранами на каких-то окраинах и задворках. Народ сперва ломанулся. К концу фильма зал был полупустой — советские зрители расходились, недовольные, пожимая плечами. Я их ненавидел. Я сидел завороженный. Я посмотрел «Зеркало» два или три раза, но помню его наизусть (а стихи впечатались в память с первого раза — так не бывает).

Поздние фильмы — «Ностальгия», «Жертвоприношение» — произвели на меня меньшее впечатление (хотя проход Янковского с горящей свечой, снятый одним бесконечным планом, заслуживает какой-то отдельной кинопремии — а может, и дали?) И дело, мне кажется, не в том, что что-то лучше, а что-то хуже — просто ниша моего сознания, предназначенная для кино Тарковского, оказалась заполненной «Зеркалом» полностью. Да и времена изменились — у кого-то в его нише, возможно, лежит другой его фильм.

Тарковского можно любить, восхищаться, быть к нему равнодушным, сильно не любить, наконец. Вот что нельзя делать точно — это пытаться ему подражать. Выглядит это всегда жалко.

Помню, в начале восьмидесятых я где-то с диким трудом раздобыл видеокассету, на которой Андрей Тарковский читает лекцию о кино — в Риме или в Париже, не помню. Дрожа от нетерпения, прибежал домой, вставил в плеер — ждал

откровений. Оказалось скучнейшее повествование.

Сейчас самому смешно. Легко рассказать, как строится кадр и что такое ритм монтажа. Рассказать, как делается искусство, — невозможно.

Месть

Я совершенно не мстительный человек. Наверно, унаследовал это от своих родителей: обида быстро забывается, а человек, сделавший гадость, просто становится мне неинтересен и удаляется из поля моего зрения. Тратить время, силы и эмоции на то, чтобы кому-то чем-то за что-то отплатить — на мой взгляд, глупо и непродуктивно. Так что «Графа Монте-Кристо» я даже не читал. Тем не менее одна история, случившаяся со мной, не вполне вписывается в эту модель поведения.

Случилось это давно — в начале восьмидесятых. «Машина времени», уже вполне легально выступавшая по стадионам и дворцам спорта нашей необъятной тогда советской родины, имела приписку к организации «Росконцерт», и по всем правилам ей полагался директор — человек, отвечавший за бухгалтерию и за наше поведение перед вышеозначенным «Росконцертом». На том отрезке жизни нашего директора звали, допустим, Виталий Витальевич (или попросту Витальич). Если попытаться охарактеризовать его одним словом, точнее всего подойдет слово «ушлый». Он был старше нас совсем ненамного, но прошел яркую и суровую школу жизни, начиная с мест не столь отдаленных и заканчивая директорствованием чуть ли не у Аллы Пугачевой.

Как же быстро летит время! Как стремительно меняются горизонты, пейзажи и звуки! Никто уже и не помнит, что такое «сборный концерт». А между тем по законам того времени других концертов во дворцах спорта не полагалось. Поэтому первое отделение включало не менее двух конферансье (тоже ушедшая профессия), какого-нибудь шутника-юмориста, эстрадную певицу или певца среднего достоинства, двух тряпичных кукол в человечий рост — внутри сидели специальные дядьки, фокусника и коллектив молодежного танца, после этого праздника жизни объявлялся антракт, во время которого мы выволакивали на сцену наши барабаны и колонки, и второе отделение принадлежало «Машине времени». Сборный концерт призван был удовлетворить вкус советского трудящегося во всем его диапазоне. Он, в общем, и удовлетворял — зритель был неизбалованный, и я не помню, чтобы кого-то плохо принимали. Артисты из первого отделения оказывались людьми, как правило, забавными, а иногда совершенно замечательными, и вот таким табором, выпивая и травя байки, мы путешествовали по городам и весям родной страны. В основном по весям.

Работа в сборном концерте перемежалась с постоянным ожиданием. В день их происходило два (иногда в выходные —

три), поэтому мы приходили за час до начала первого концерта, расставляли и проверяли аппаратуру, потом снова разбирали и утаскивали за сцену, потом звенели звонки, зал заполнялся людьми, потом шло развеселое первое отделение, которое мы пережидали в гримерке, потом в антракте лихорадочно расставлялись, работали свое отделение, потом ждали, пока зритель разойдется, опять освобождали сцену от своих усилителей и снова уходили коротать первую часть концерта. В трейлере с аппаратурой я возил небольшую раскладушку.

В одной из своих прошлых жизней наш Витальич профессионально играл в карты с целью личного обогащения, иначе говоря, «катал», и скоро уже вся «Машина» неистово резалась в деберц — игру каторжанскую, но необыкновенно динамичную и привлекательную. Витальич в этой ситуации вел себя достойно, как играющий тренер, на крупные суммы своих не разводил, выигрывал по мелочи, и игра служила исключительно задаче скоротать время.

Событие, о котором я взялся рассказать, случилось на гастролях в городе Волгограде. Поздно ночью, отбарабанив два концерта, поужинав чем было и слегка выпив, мы сидели в номере Витальича. Мы играли в карты, и мне чудовищно не перло. Он то и дело покупал красивые комбинации, а я — семерки и прочий мусор. Те, кто играл, знают это состояние — вера в справедливый миропорядок или хотя бы в теорию вероятности заставляет тебя думать, что такое не может продолжаться вечно, что сейчас все обернется, а на деле ничего подобного не происходит. В общем, часа через два, окончательно разуверившись в своей звезде и сильно расстроившись, я молча рассчитался и ушел в свой номер. Все дальнейшее я помню до мелочей — готов поклясться, что моей воли в происходившем не было, я как бы превратился в стороннего зрителя. Я вошел в свой номер и зажег свет. На столе у меня лежала гора вяленой рыбы — огромные лещи, подарок местных фанатов. Не спеша я выбрал самого большого леща, крепко взял за хвост на манер теннисной ракетки, прикинул в руке — лещ был твердый и тяжелый как полено. Затем я вернулся и постучал в номер Витальича. Витальич отпер дверь — он уже успел надеть красивый шелковый халат — и я, размахнувшись, страшно ударил его лещом по голове. Ни разу в жизни — ни до ни после — я не видел на лице этого прожженного, тертого жизнью человека такого детского изумления. «Макар, ты охренел?» — произнес он потрясенно. Нет, он сказал не «охренел» — он использовал другое, созвучное слово, куда больше подходящее к моменту. И тут я оценил картину — себя с грозным и трагическим лицом и лещом в руке,

Витальича в халате с отвисшей челюстью, и душа моя вернулась в мое тело и меня разобрал чудовищный, оскорбительный смех. Я хохотал и не мог остановиться — настолько все происходящее не вписывалось в привычную картину мира.

Сейчас, спустя тридцать с лишним лет, я пытаюсь дать ответ на вопрос — что это было? Месть? И если не месть, то что?

А Витальич меня простил. И даже потом смеялся вместе со мной. Правда, все-таки не так, как я.

Цирк

А ведь цирк, господа, уходит в прошлое. Как это ни грустно. На наших глазах. Потому что «Цирк дю Солей» — это все-таки не цирк. Какой-то новый синтетический жанр.

Многие еще недавно обязательные составляющие цирка уже в прошлом. Например, французская борьба. Человек-гора — Черная маска — против Ивана Поддубного! Ваши ставки, господа!

И все-таки цирк консервативен. И он хранит традиции. И арена будет круглая, и диаметр ее будет двенадцать с половиной метров — другой не бывает. И засыпана она будет опилками, и пахнуть обязательно будет этими самыми опилками и еще немножко зверями. Потому что во втором отделении обязательно будут огромные, страшные и интересные звери — львы, тигры, слоны. Ну где еще такое увидишь?

Очень возможно, что скоро зоозащитники победят и дрессированных животных в цирке не станет. И спорить-то с ними трудно — дикие звери должны жить на воле, нечего над ними издеваться. Заодно закроют зоопарки, и наши дети будут узнавать этих самых зверей по картинкам в Интернете.

Мой товарищ Юра Дуров — правнук того самого легендарного дедушки Дурова, который придумал добрую дрессуру — без наказаний. Юра — прямой продолжатель этой школы. Он выходил на арену с пяти лет. Я не знаю более доброго человека. Единственный раз в жизни он ударил гепарда и не может себе простить этого до сих пор. Его звери воспринимали работу на арене как игру.

Однажды я зашел к нему за кулисы сразу после представления — он только что отработал со слонами. Юра разрезал батон белого хлеба вдоль, полил патокой и уложил на каждую половину по полкило рафинада — это было угощение для слонов. Слониха Машка, увидев хозяина, разулыбалась, заплясала, закачала головой. Я дал ей полбатона, который тут же исчез в ее пасти, стал гладить ее хобот. Вдруг Дуров что-то еле слышно шепнул ей, хобот с необыкновенной легкостью и силой обвил меня вокруг пояса, и через мгновенье я взлетел ввысь и оказался у слонихи на спине. Вас никогда не забрасывали одним движеньем на крышу двухэтажного автобуса?

Шкура слонихи была шершавой и горячей, из нее торчали редкие волосы толщиной с карандаш. Наверно, я испугался. Во всяком случае, дар речи на время был утрачен. Дуров и слониха хохотали. Когда способность изъясняться вернулась, я униженно принялся просить Машку спустить меня на землю. Но она еще

покачала меня на спине, потанцевала на месте, кося на меня хитрым и мудрым глазом, потом вздохнула и аккуратно поставила на место.

Благодаря Юре я несколько раз попадал в мир, где живут цирковые (ни в коем случае не говорите «циркачи!» Обижаются). Однажды в Новосибирске я завис в цирковой общаге на несколько суток. Молодые мы были и, соответственно, веселые. Помню, случилась какая-то бесконечная цепь дней рождения. Когда в общаге живет сто человек — у кого-нибудь обязательно день рождения. В среднем раз в три дня. Я сказал «мир цирковых», потому что это именно мир, существующий параллельно совсем рядом с нашим, большим миром, где живем мы, все остальные. Эти миры даже слегка соприкасаются — когда мы приходим в цирк посмотреть на выступление артистов. Прочих соприкосновений практически нет. И — все другое: правила, обычаи, анекдоты, а с ними и чувство юмора — кажется, сам воздух вокруг них чуть-чуть другой. Потому что в цирке нельзя работать с девяти до шести. Цирк — это жизнь, и на другую жизнь, у тех, кто родился в этом мире (а в цирке, как правило, рождаются), не остается ни времени, ни, кстати, особого интереса.

Тысяча девятьсот восемьдесят первый год, «Машина времени» приезжает в Калининград. Работаем почему-то в помещении цирка. Прямо с самолета едем на площадку настраивать звук, заходим в цирк через служебный вход, попадаем во внутренний дворик. Пространство заставлено фургончиками, какими-то ящиками, разобранными клетками. Неподалеку рыкает невидимый лев, и я понимаю, что мощность нашей аппаратуры весьма относительна. Посреди двора стоит мальчик лет семи. В руках у него хлыст — шамбольер. Перед мальчиком на столике пять свечей. Он зажигает их, отступает назад на несколько метров и пятью ударами шамбольера гасит их по очереди. Каждый удар сопровождается оглушительным щелчком. Потом мальчик подходит к столику, зажигает свечи и все повторяется. Движенья его спокойны и размеренны. Нас он просто не видит — мы не из его жизни. Мы полюбовались на маленького артиста (я все ждал, что он промахнется — хотя бы один раз. Фигушки!), прошли внутрь, отстроили звук, потратив на это часа полтора, вышли во дворик (мальчик продолжал свое занятие), доехали до гостиницы, пообедали, повалялись по номерам — часа два, и вернулись в цирк к началу концерта. Мальчик был на месте. И я отчетливо ощутил собственное несовершенство.

Все очень просто, говорит мальчик. Нет предела нашим возможностям. Просто надо тренироваться.

Репетировать.

О времени

Чем дольше я живу, тем меньше понимаю природу времени. Хотя все лучше чувствую ее. Что такое само время — очень красиво сказано у Даля (и многие словари его беззастенчиво цитируют): время — длительность бытия. Пространство в бытии. Последовательность существования, продолжение случаев и событий. Дни за днями, века за веками. Умел изложить.

Я про другое. Я про главное его свойство — необратимость. «Обратимо, обратимо!» — кричат математики. «Научно это доказуемо! Вот если полететь в очень далекий космос, да со скоростью, превышающей скорость света…» Ну да. Теоретически. Если человечество возьмет верх над временем, мы станем богами. Мы сможем изменять прошлое. Хотя, мне кажется, даже Бог не в силах изменить прошлое. Всемогущий? Выходит, время сильнее. Выходит, время и есть Бог.

Вот ты ведешь пером по бумаге. Справа она еще безупречно чиста — пиши что хочешь. Рисуй. Ставь кляксу. Но. Переписать, перерисовать уже не получится. Можно только продолжать. До поры. Кляксы пытаются соскоблить бритвой, замазать белым — всегда видно. А дальше — твою бумажку унесет ветер, или она сгорит в огне с тысячью таких же, или ее положат в архив и будет она там желтеть и пылиться сто лет, и никому она не окажется нужна. А может быть — вставят в рамку, повесят на стену и будут любоваться — как красиво! Долго-долго.

Это уж никому не известно.

Ставлю на граммофон пластинку, кручу ручку. Слышу голос человека, которого давно нет. Как нет? Вот же он дышит!

Часы — бессовестный механизм, с помощью которого мы убеждаем себя, что можем измерять время. «Перезвони мне через тридцать минут!» Хорошо. Взял линейку, отмерил по берегу реки тридцать сантиметров.

Перезвонил.

Меряем время по плоскости. В двух измерениях. А глубина?

Да и с течением времени большие вопросы. Я долго не мог понять — почему в детстве каждый день был длиною в год, а сейчас год пролетает как день? И самые точные швейцарские часы ничего с этим поделать не могут? А один человек мне замечательно это объяснил. Он сказал: часами мерить нашу жизнь бесполезно. Ее можно мерить только самой жизнью — отношением части к целому. Тебе пять лет — твой год это одна пятая всей твоей жизни, огромный срок. Тебе шестьдесят — твой год это одна шестидесятая часть. Пшик.

По-моему, очень верно.

Я никогда в жизни не пользовался будильником. При своей болезненной пунктуальности. Будильники в доме были — круглый синий железный с хромированной шапочкой звонка, как на велосипеде, потом — прямоугольный пластмассовый со слегка покатыми боками и золотыми палочками вместо цифр — часовой завод «Слава». У этого тарахтелка была уже спрятана внутри, наверх выходила только розовая кнопка. Заботливая мама ставила мне его на тумбочку, чтобы я, не дай Бог, не проспал в школу. Мне настолько была неприятна мысль о том, что сейчас какая-то сволочь ворвется в твой сон своим дребезгом, что я просыпался за две минуты до звонка, с ненавистью смотрел на ползущую стрелку и — затыкал мерзавца в последнее мгновенье. Ежеутренняя маленькая победа над драконом.

В какой-то момент я задумался над этим свойством своего организма. Получается, внутри у тебя спрятаны часы — поточнее будильника завода «Слава»?

Летом мы поехали на дачу, и я продолжил эксперименты. Недалеко от дачи находился пруд с мутной водой и маленькими карасями. На пруду ежедневно рыбачил дедушка-пенсионер, похожий на Черчилля. Мы быстро подружились на почве ловли маленьких карасей и встречались каждое утро на рассвете. Я дошел в своих опытах до невероятного — например, заказывал себе проснуться завтра без семи минут пять. А послезавтра — в пять ноль девять. Получалось это всегда и с точностью до секунды.

Как это все устроено? Ни черта мы не знаем.

Время проходит и превращается в память. С одним, правда, существенным различием: память необъективна и избирательна. Дорисовывает закорючки и вензеля, стирает целые страницы. А время объективно. Потому что оно — было.

Иногда время-память выкидывают удивительные штуки.

Мы отдыхали в Гурзуфе, сыну моему Ивану было, кажется, два года. Особой разговорчивостью он в этом возрасте не отличался. Мы сидели на диком пляже, солнце садилось прямо в море. Метрах в тридцати от берега из воды поднимался большой плоский камень. Я подумал, что сидя на нем будет здорово смотреть на закат. Посадил сына на шею, мы быстро доплыли до камня. Солнце скрылось в воде, небо окрасилось розовым, становилось прохладно. «Ну что, поплыли обратно?» — предложил я. «Погоди, давай еще посидим», — ответил Иван. Что-то меня насторожило в его интонации — она была не детская. Прямо по низкому горизонту мимо нас двигался пароходик — кажется, рыболовный траулер. «А я на таком работал», —

задумчиво сказал Иван. И добавил: «Ну, это еще до войны было».

Я окаменел. Голосом моего сына говорил незнакомый взрослый человек. На этом монолог про работу до войны закончился. Иван проводил взглядом уходящий пароходик и снова стал двухлетним ребенком. Я взял его на руки и мы вернулись на берег. Придя в себя, я осторожно попытался выяснить у него — что это было? Он не смог объяснить. Похоже, он не помнил.

А я до сих пор убежден, что его тогда коснулось Время — бездонное и бескрайнее. Не то, которое в часах — то, которое Бог.

Такое бывает.

Дилетант

Служители любого цеха испытывают крайнее недовольство, когда в их творческое пространство вторгается представитель другого цеха. С точки зрения логики объяснить это трудно. Это что-то древнее, на уровне генов. Охрана своей территории. На себе я это испытывал несколько раз. (Кстати, поразительно! Я ведь и сам себя ловил на том, что совершенно немотивированно раздражаюсь — от того, например, что драматический артист А вдруг решил заявить о себе как об эстрадном певце. Неудовольствие свое я объяснял себе тем, что у артиста А это не слишком хорошо получается. Но это же чепуха — а что, у всех остальных на эстраде хорошо получается? Но тем не менее…)

Так вот. Двадцать с небольшим лет назад я придумал программу «Смак». До этого я если и посещал телевидение, то исключительно в качестве гостя-музыканта. А тут — авторская программа. И вдруг многие друзья-телевизионщики, восхищавшиеся «Машиной времени», стали морщиться. «Ну зачем он, это же для профессионалов…» Не в лицо, разумеется. И не все. Некоторые поддержали. Костя Эрнст — первый (он еще не был генеральным директором — просто делал авторскую программу). Спасибо ему.

А мы создали свою маленькую компанию, и скоро многие «профессионалы» остались позади. И мы еще много чего сделали помимо «Смака», и скоро все привыкли, что я еще делаю телевизионные программы. Это была маленькая победа.

А потом я написал книжку. И все повторилось — только уже на другой поляне. «Эдак скоро каждый шоумен возомнит себя писателем…» Не в лицо, разумеется. В разговорах с другими людьми. Да не возомнил я себя никем, не волнуйтесь. Просто возникла потребность изложить свои мысли и переживания на бумаге. Не более того. Кстати, некоторые поддержали — а мне это было важно. Михаил Веллер, Василий Аксенов. Спасибо им.

А потом я написал вторую книжку. А потом третью. А потом пошли предложения от издательств, и я написал четвертую, пятую и шестую. А потом всех перестало удивлять, что я иногда пишу книжки. И это тоже была маленькая победа.

А несколько лет назад меня потащило в сторону джаза. То есть любил я его всегда, но играть сам не планировал. Джаз — весьма снобистская штука, в отличие от демократичного рок-н-ролла, и я сильно робел. Да и не было рядом проводника в этот мир — одни герои российского рока. А потом появился Женя Борец, и он оказался именно тем самым проводником и, несмотря

на некоторое мое сопротивление, увлек меня по этой дороге. Спасибо ему. Подозреваю, что некоторые апологеты отечественного джаза до сих пор кривят морду. Да бог с ними. Одна из причин, по которой меня так утянуло, — во всяком случае, я так думаю, — состоит в следующем: за последние десятилетия музыка очень сильно обэлектронилась, и рок и поп намертво посадили на бездушный ритм компьютерного метронома. Даже этника не уцелела. А джаз уцелел. Потому и остается для меня самой живой музыкой. Свинг — это пульс музыканта, и пока человек дышит, пульс его останется живым. А метроном хорош на кладбище. Я возвращаюсь домой поздно вечером, захожу в мастерскую, и мои гитары бегут ко мне как собаки. Они очень разные и очень ревнивые, и никого нельзя обидеть. Вот битловский «Риккенбэккер», такой когда-то был у Джорджа Харрисона, и надо обязательно взять на нем несколько битловских аккордов — он, как выяснилось, для этого и создан. А вот немолодая хищная птица — Би Би Кинг звал ее сестру женским именем Люсилл, и поет она блюзовым голосом, и играть на ней надо совсем другие аккорды. А вот огромная, толстая, торжественная, как рояль, «Гибсон Л 5», самая главная джазовая гитара, вся в ручечках и рюшечках. Она — бабушка, и играть на ней следует, конечно, старый джаз. Я могу сидеть с ними до утра. Артем Троицкий однажды сказал, что вся советская эстрада — это еврейско-цыганская «Калинушка». Это очень точное определение, и ничего обидного в нем нет: именно из этих трех этнических составляющих, из трех мелосов эта самая эстрада и склеена. За редким исключением. Столько же еврейского в старом американском джазе — только там это наложилось не на «Калинушку», а на черный блюз. Так вышло исторически — в обоих случаях.

А еще — если бы я был, скажем, испанцем, я бы, наверно, записал пластинку «Испанский джаз». А так…

Ребята, этим песням за семьдесят лет. Некоторым — далеко за семьдесят. И ведь сколько всего за эти годы человечество напридумывало и наизобретало, а слушаешь их и понимаешь, что в самой своей сердцевинке человек совсем не изменился и те же сочетания звуков заставляют его улыбаться и плакать. Иногда одновременно. Разве это не прекрасно?

Грядущее

Задание подумать на эту тему застало меня в самый разгар гастролей по Америке с программой «LOVE — песни про любовь». Жизнь на гастролях сильно упрощается: главная задача — отыграть концерт (это я люблю), переехать из города в город (это я не люблю), а все остальное — это твое свободное время, которым в Москве я не располагаю. Поздно вечером, безуспешно борясь с разницей в одиннадцать часов и пытаясь заснуть, листаю телевизионные программы — их штук пятьдесят. В Америке грядут выборы (Ага! Вот оно, словечко-то!), и я постоянно вижу то Трампа, то Хиллари. Они встречаются с избирателями, отвечают на едкие вопросы журналистов. Избирателям интересно! И кому-то нравится Хиллари, а кому-то, наоборот, Трамп, и совершенно непонятно, кто победит в этой гонке. Потому что будут вы-бо-ры. Как можно жить в такой неопределенности? Как дети, ей-богу.

Вообще жизнь в Америке — не такая уж сладкая повидла, много чего творится то тут, то там: вон по штату Теннесси движется торнадо, а в Нью-Йорке неделю назад навалило снегу, а в Лос-Анджелесе прошел ливень с сильным ветром и деревья попадали на дорогу — пробка на полдня. А еще какой-то безумный мальчик, наигравшись в компьютерные стрелялки, пришел в школу с пистолетом и ранил двоих. Но вот что интересно — никто ни разу не обвинил в этих бедах ни Россию, ни лично президента Путина. Странно, правда? И главное — за две недели ни на одном канале ни слова о ценах на нефть! Как это? У нас ведь сначала цены на нефть, а потом уже прогноз погоды. А у них про погоду постоянно, а про нефть — ни слова! Как они с этим живут?

Ну ладно. О грядущем.

Мне не нравится слово «грядущее» — своим пошлым пафосом. Если грядет — то непременно что-то значительное и неотвратимое. Вот выборы — грядут. Утро, например, ни фига не грядет — оно просто наступает. И мне это как-то ближе. К тому же существует это слово только в настоящем времени, хотя сообщает тебе о будущем — мы еще здесь, в настоящем, а что-то там уже грядет. А что делать с прошедшим временем? «Вот и отгряли выборы»?

Что же касается неотвратимости, которой так и лязгает слово «грядущее», то меня с детских лет необычайно занимает вариабельность будущего, то есть этого самого грядущего. Я завороженно смотрю, как будущее, заправленное в безостановочно стучащую швейную машинку времени, выходит

из-под иглы уже застывшим прошлым — все, по-другому уже не будет. А за секунду до этого можно было что-то сделать иначе — взять другую ноту, не наступить на шкурку от банана, сказать не «нет», а «да»? И прошлое стало бы другим! Или, как мне объяснял один физик, прямая времени простирается в обе стороны, и все наши поступки уже записаны в Книге Жизни? И когда тебя подмывает иногда взорвать привычный ход событий — одеться в лимонное трико, вбежать в поликлинику и запеть что-то громкое итальянское — не обольщайся, и это уже было записано как единственно возможное, и время не обмануть? Или ты так и не побежал? Значит, этот вариант был записан!

Я не знаю, как это устроено.

Была у Макса Фриша замечательная пьеса — не понимаю, почему ее у нас никто не поставил. Пожилой профессор, после получения очередной награды, сидит в одиночестве дома и сетует на то, что все у него было бы великолепно, не встреть он двадцать пять лет назад эту женщину — она сломала ему жизнь. Возникает некто в сером, именующий себя Регистратором, и предлагает профессору переиграть любой эпизод его прошлого. «Отлично! — восклицает профессор. — Я знаю, где и когда была совершена ошибка! Мне не следовало знакомиться с ней на том вечере!» И — тут же оказывается на этом самом вечере еще молодым человеком и уходит от знакомства. Ничего не получается — они знакомятся на следующий день при других обстоятельствах. «Ладно, — не унимается профессор, — но зачем я на ней женился?» Опять прыжок в прошлое, свадьба отменена, но не тут-то было: она происходит через месяц. Так, шаг за шагом, Регистратор доказывает несчастному профессору, что даже с помощью волшебства ничего в Книге твоей жизни изменить нельзя — не поддается переписке. Потому и грядущее — неотвратимо.

Грузины противопоставляют этой безнадеге простой и мудрый тост. «Вот мы сейчас сидим за столом с друзьями, и знаем, что завтра этот момент станет прекрасным воспоминанием, — говорят они. — Так выпьем за наше будущее, чтобы оно, становясь настоящим, оставляло нам в прошлом только прекрасные воспоминания!» Каково?

Я закрываю глаза и иду на чердак — для этого совсем не обязательно карабкаться по лестнице. Старые горнолыжные ботинки, гастрольные чемоданы, рюкзак, спиннинговые катушки — сколько им лет? Какими желанными они были для меня в моем будущем! И какое прекрасное у нас с ними было настоящее! Как же я могу с ними расстаться?

Вообще, размышлять о событиях, на ход которых ты не можешь повлиять, довольно противно. Так что хрен с ним, с

грядущим. Просто слово «Будущее» мне нравится больше. Оно как-то теплее.

И довольно об этом. Вон утро уже наступает.

Или грядет?

НЕОБЪЕКТИВНЫЕ МЫСЛИ

Эйфория

А я всю жизнь считал, что отлично знаю, что такое эйфория. Эйфория — это такая бешеная радость, только чуть-чуть больше. В общем, волна абсолютного счастья. Большая советская энциклопедия меня, однако, сильно озадачила: все не так. Эйфория — это, оказывается, повышенное, радостное настроение, чувство довольства, благополучия, не соответствующее объективным обстоятельствам. Мало того, присуща эта эйфория зачастую лицам с тяжелыми поражениями головного мозга и даже умственно отсталым. Вот тебе и раз. Как все хорошо начиналось. А ведь меня неоднократно посещало это самое чувство. Причем это была именно эйфория — не какая-нибудь нежданная радость или преходящее ликование.

Помню, как у меня пятнадцатилетнего, уже безнадежно отравленного битловскими звуками, вдруг оказалась в руках настоящая японская электрогитара — предмет в Стране Советов конца шестидесятых совершенно невозможный. Черно-желтая, сверкающая лаком и хромом, с четырьмя звукоснимателями и вибратором, она лежала в футляре, по форме как фараон в саркофаге. И мне оставили это чудо до утра! И я бренькал на ней до поздней ночи, потом положил с собой в постель и — не уснул до рассвета: смотрел на нее сквозь тьму, гладил, нюхал (как она пахла!), боролся с желанием поцеловать или хотя бы лизнуть. И это была самая настоящая эйфория, клянусь. Со всеми на то основаниями, между прочим.

В начале перестройки — как только разрешили выезжать — я оказался в Хургаде. К этому моменту я уже обожал подводное плавание и исправно нырял в реки, озера, Черное море и даже один раз в океан во Владивостоке. Но главной мечтой на протяжении четверти века (с того момента, как я посмотрел «Последний дюйм» и «В мире безмолвия» Жак-Ива Кусто) оставалось увидеть под водой акулу — причем мечтой абсолютно несбыточной: акулы в Советском Союзе не водились, да и путешествие в акульи моря могло привидеться разве что во сне. Кто же знал, что я доживу до таких перемен?

Первое в жизни погружение в тропическое Красное море, конечно, произвело впечатление, но без акул картина оставалась неполной. Я совершенно замучил местного инструктора, и в конце концов он нехотя сообщил, что, в принципе, у рифа Кэрлесс, примерно час ходу, живет одна акула, но единственный шанс ее увидеть — прийти туда рано-рано, пока нет других лодок с дайверами, потому что она очень пугливая и сразу уплывает.

И опять я всю ночь не спал. Мы вышли в шесть утра, на рассвете. Я, как идиот, заранее нацепил на себя все снаряжение, сидел с баллоном за спиной, считал минуты (они тянулись невероятно медленно), причем считал шепотом — как будто я мог спугнуть акулу. Наконец мы пришли на место, зацепили катер за буек, я вслед за инструктором плюхнулся в воду, мы упали на дно, двинулись вдоль коралловой стенки — и вдруг я увидел акулу. Это была маленькая рифовая акула, но это была самая настоящая акула, и от мгновенного осознания того, что так чудесно сбылась мечта, мучившая меня двадцать пять лет, я заорал. От счастья. Нет, от эйфории.

Крик под водой звучит не так убедительно, как на воздухе, но тем не менее силы его было достаточно, чтобы потрясенная акула дала свечку и унеслась из этой акватории навсегда. Больше ее там не встречали, я спрашивал.

Эйфория? Да конечно, что же еще.

Еще помню, как в восьмидесятом году «Машина» отыграла свой сет на фестивале в Тбилиси и зал устроил бешеную овацию и не хотел нас отпускать, а мы стояли за кулисами, мокрые и счастливые, и понимали, что нельзя выходить на бис — это не наш сольный концерт, а фестиваль, и следующая группа готовится к выходу, а зал все не унимался, и продолжалось это бесконечно. И это тоже была эйфория.

Но это все события прошлого. А сегодня?

Да пожалуйста.

Я приглашаю в дом самых близких друзей. Человек шесть-восемь. В основном мужчин. Заранее я еду на рынок и тщательно выбираю все необходимое. (Это надо делать самому. Успех действа зависит от массы составляющих, и одна недотянутая струна: опоздавший или вовсе не приехавший гость или, наоборот, припершийся нежданный, пусть и очень хороший человек, нехрустящий соленый огурец, несвежая зелень, дряблая селедка, негармонично придуманный стол — и оркестр не зазвучит.) Упаси бог выбирать для встречи какой-то специальный повод — унесет в сторону. Наша встреча и есть повод.

И вот все в сборе. Давняя дружба и прекрасное знание друг друга позволяют обойтись без постылых формальностей и ненужных словоизлияний. И можно сразу сесть за стол, пожелать самим себе доброго вечера, индивидуально разобраться с закуской, налить по рюмке хорошей (не замороженной — охлажденной!) водки и выпить — просто глядя друг другу в глаза. Вы спросите: при чем тут эйфория? Эйфория наступит в промежутке между второй и третьей при условии, что соблюден временной фактор между первой и второй и на этом отрезке не

возникло ни лишних разговоров, ни длинного пошлого тоста. Впрочем, в своих друзьях я уверен, как в себе. Расстояние между второй и третьей, в общем, невелико и задано природой, но за это время вы почувствуете всем существом, что мир вовсе не так плох и, как прежде, тяготеет к гармонии, и успеете ощутить кожей и сердцем величие и бесконечность этой гармонии и на мгновение увидеть, сколько еще чудесных моментов готовит тебе и твоим друзьям жизнь. И это будет эйфория.

Хотите попробовать? Ну-ну.

Космос

Я очень хорошо помню, что такое космос.

Тысяча девятьсот семьдесят пятый год. Август, Гурзуф, ночь. Темнота такая, какая бывает в Гурзуфе в августе ночью. Мы лежим на теплой гальке, раскинув руки, совсем рядом тихонько плюхает невидимое море. Внутри нас отчаянно ликует «Донское игристое красное». Если неотрывно смотреть в черное небо, переполненное звездами, можно увидеть спутник — еле заметную светящуюся точку, ползущую среди неподвижных светил. Андрюшка Григорьев, смешной хиппи с научным уклоном, объясняет: все спутники в мире запускаются для придания им большего ускорения против вращения Земли — то есть движутся с востока на запад. Следовательно, если мы видим тело, летящее в другом направлении, — это тело неземного происхождения, корабль пришельцев, летающая тарелка. Таких тел над нами довольно много, и мы заворожены величием и бесконечностью непознанного. Сам Андрюшка однажды семь ночей кряду просидел на московской крыше, силясь узреть летающую тарелку, но кроме нежданной совы, прилетевшей к нему поболтать, так ничего и не узрел. Чудный Андрюшка, царствие ему небесное.

Когда, в какой момент космос потерял для нас свою романтическую магию? Я помню радостное безумие, охватившее мир в пятьдесят седьмом — Советский Союз запустил первый спутник. Если быть точным, мира в свои четыре года не наблюдал, а что у нас творилось, помню — надо же, обогнали Америку! И сразу вдогонку первому спутнику — второй, а потом третий! Вот они, звезды! Рукой подать! Помню мельхиоровый подстаканник: на нем выдавлен земной шар — как полагается, весь в параллелях и меридианах, российской стороной к нам и с улыбающейся мордой. Москва отображена звездочкой, и из нее в небо направляются три дуги: на конце одной — первый спутник, шарик с четырьмя антеннками, на второй — спутник номер два, из него торчит собачья голова в шлеме — Лайка! На третьей — третий спутник, совсем уже похожий на фантастический звездолет. Да космос уже наш!

Помню, как по Большому Каменному мосту торжественно едет серая открытая «Чайка» в эскорте мотоциклистов. Она завалена цветами, как могила, в них по пояс сидят Никита Сергеевич Хрущев и Юрий Гагарин — первый космонавт на планете! Толпа по обе стороны моста кричит, машет чем попало, вдруг откуда-то выдергивается тетка в сарафане и кидается к машине — целовать Гагарина. И ничего, никто не бьет ее

дубинками и не крутит руки. Представляете себе — я застал время, когда никаких дубинок у милиции не было в помине! Верите?

Страшно хотелось в космос. Я вполне трезво рассматривал эту перспективу. Я перечитал, кажется, всех советских фантастов, талантливых и бездарных — все тогда писали о космосе.

А тем временем на орбиту отправился еще один космонавт, а потом еще, а потом сразу трое, а потом случилась катастрофа, а потом мы все как-то попривыкли — и к космическим полетам, и к катастрофам. Последний всплеск эйфории случился в шестьдесят девятом — человек на Луне! Опять на миг показалось, что завтра на Марс, а оттуда — к Альфе Центавра. Но вместо этого вскоре вдруг оказалось, что полеты в космос перестали быть главным способом утверждения политического превосходства, а стали, наконец, тем, чем они были — очень дорогими и небезопасными научными экспериментами с не всегда объяснимыми целями. И со слова «космонавт» слетел волшебный флер, и оказалось что это — тяжелая, не всем доступная, опасная и не слишком хорошо оплачиваемая профессия. И все. Помните, в «Солярисе»? «Человеку не нужен космос. Человеку нужен человек». Не стал я космонавтом.

Есть, правда, еще один Космос. Он — внутри каждого из нас. Он бесконечен, и наполнен ангелами и демонами. И иногда нам только кажется, что мы имеем над ними власть. А между тем сегодня из нас выпускают демонов — методично и осознанно. Сталкивая нас лбами, ссоря «патриотов» и «либералов», «русских» и «нерусских», приезжих и местных, брызгая на нас слюнями с экранов, где одно общественно-политическое шоу сменяет другое, топая ногами в защиту якобы православной веры. Власть, кажется, забыла, что выпустить демонов куда проще, чем загнать их обратно. И вот когда процесс примет окончательно неуправляемый характер — будет вам космос.

Мода и мода

Сложнее всего дать определение самым обыденным словам из нашего обихода. Ну-ка, что такое мода? Коротко и емко!

Ладно, не мучайтесь. Вот как определяют это понятие словари.

Даль: «Ходящий обычай, временная, изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и нарядах».

(Хорошо сказано, а?)

«Историко-этимологический словарь современного русского языка» под редакцией П. Я. Черных: «Совокупность привычке и вкусов в отношении одежды, предметов быта и пр., считающихся в данный момент в определенной общественной среде образцовыми».

Фасмер, «Этимологический словарь русского языка»: «Мода — впервые у Петра Первого, также у Фонвизина. Через нем. „Mode“ или из франц. „mode“ от лат. „modus“ — мера (предмета); правило, предписание; образ, способ» (ну понятно — у немца все из Германии пошло. А вот латынь — интересно: мода — мера. По-моему, как раз наоборот!)

Вот малоизвестный энциклопедический словарь Ф. Павленкова, 1899 год: «Господство в данное время каких-либо вкусов, направлений и т. п., отражающееся в любой области народной жизни». Коротко и ясно.

Ну и наконец Большой энциклопедический словарь, 2000 год. «Непродолжит. господство определ. вкуса в к.-л. сфере жизни или культуры. В отличие от стиля, М. отражает более кратковр. и поверхностные изменения внеш. форм бытовых предметов и худ. произведений. В узком смысле — смена форм образцов одежды. 2 — непрочная, быстропроходящая популярность».

Ну, в общем разобрались.

Сегодня я считаю себя скорее антимодным человеком. Потому что сегодня мода вместе с рекламой гамбургеров, прокладок, новых марок автомобилей и мороженого вколачивается в наши головы отбойным молотком. Собственно, все перечисленное и есть составляющие моды. Поэтому сегодня быть модным — это быть как все (ибо кто же не хочет быть модным?). Я не хочу. «В этом сезоне модно пить Фанту!» Да идите вы в жопу.

Ну а что касается одежды — вся она сегодня придумывается для молодых, худющих, толерантно настроенных в смысле унисекса. А мне, извините, не двадцать лет, не хочется выглядеть смешным. Хотя слабые попытки производились. Я сильно

переживал по поводу модных сверхнизких поясов у джинсов — мне казалось, что достаточно нечаянного движения, и они сползут — чего там сползать-то? К тому же то, что нависало над этим поясом спереди и с боков, сильно не радовало. А покупал по двум причинам — во-первых, других и не продавали: был пояс низкий и невозможно низкий. Во-вторых, меня пытался подсадить на них сын: артист, значит, будь модным. На нем, двадцатипятилетнем, они сидели как надо — непонятно на чем держались. Я даже попробовал их сдернуть с него неожиданно сзади — не получилось! В общем, мода не пошла.

Однако! Я вспоминаю нас двадцатилетних, я копаюсь в потрескавшихся черно-белых московских и питерских фотографиях — «Машина», «Аквариум», «Удачное приобретение»… Мы были жуткие модники! Но наша мода была — наоборот: МЫ НЕ КАК ВСЕ! А в условиях советской действительности наши наряды граничили с идеологическим вызовом. Да это и был вызов — эй, вы, серенькие, мешковатые, одинаковые, с кислыми лицами — просыпайтесь! Битлы и роллинги идут! Лав, пипл! Мы шили невероятные клеша из бархата, занавесок и матрасной ткани. Ширина превосходила все допустимые пределы. Мы затягивали наши бока (тогда, к счастью, худые) в батники на два размера меньше, и все решала прочность ниток, державших пуговицы. Мы стучали по асфальту неимоверными сабо: платформа десять сантиметров! И суровые осуждающие взгляды строителей несостоявшегося коммунизма нас только заводили. Конечно, мы не листали модные журналы от кутюр (да их и не было — за исключением журнала «Польская мода»!) — мы срисовывали себя с Джимми Хендрикса. Думаете, он со своими цыганскими рубахами, цветами и перьями у «Дольче Габбана» одевался? Да прекратите. Такой же сумасшедший, как мы. По общечеловеческой моде одевался Энгельберт Хампердинк — чуть расклешенные благообразные однотонные брючки, короткий приталенный пиджачок, причесочка. Модненький такой гусь.

Конечно, это во многом диктовалось философией хиппи — не будь как все! Даже среди своих! Поэтому фантазия не знала границ, а крайняя ограниченность в материалах и подручных средствах заставляла пускаться в удивительные ухищрения. Помню девочек, аккуратно завернутых в тюль от занавески, — там, где надо — просвечивает. Чуть-чуть. Золотая бахрома на рукавах моей концертной рубахи была срезана с какого-то красного знамени. Эх…

Сегодня мир невероятно унифицировался. И напрасно мальчики в расшнурованных кроссовочках и шапочках на глаза

думают, что все они выглядят по-разному. Нет, все они выглядят одинаково. Мода больше ни с кем не воюет.

А может, они и не думают?

О музыке

Нет-нет, господа, поверьте мне: если уж мы говорим об искусстве, то музыка — искусство искусств, высшая его ступень. Музыка необъяснима и иррациональна. Желаете пояснений? Извольте.

В любом из искусств помимо «как» (что и составляет тайну искусства) непременно есть еще и «про что». Про что там у тебя книжка — про любовь, про войну или про дружбу? Ромео и Джульетта умерли от любви, и мы печалимся, Чапаев опять не доплыл до берега — горе, бурлаки тянут баржу, им тяжело и жарко, и мы сопереживаем. Даже балет, по сути набор живых картинок к музыке, имеет содержание — про что там «Лебединое озеро»? А тут дядька склонил голову, провел конским волосом смычка по струнам скрипки — и ты вдруг заплакал. Что с тобой, дружок? Про что это ты плачешь?

Теория, как водится, очень хорошо объясняет, как та или иная музыка сделана, но никогда не объяснит, как ее сделать. Краски, положенные на холст, даже в полном соответствии с инструкцией, еще не есть картина.

Музыка нанизана на ритм, как все живое на нашей планете (а индейцы считали, что живое на планете — все, считая саму Мать-Землю, и я с ними согласен). Все вокруг подчинено ритму: день и ночь, зима и лето, приливы и отливы, фазы солнечной активности, смена глобальных потеплений и ледниковых периодов. Порывы ветра хаотичны, а волны ударяют в берег, создавая мощный ритм — как это? Внутри каждого из нас ритмично бьется сердце. Там, где остановился ритм — закончилась жизнь. Ритм задан нам Богом.

Мы многое знаем о тайнах ритмов, и не знаем ничего. Сейчас с помощью ритмов (инфразвук) лечат болезни — опять. Раньше это делали шаманы. Ударяя в бубен, шаман стучался в двери к богам. И двери открывались, поверьте, — если ты знал правильный ритм.

А мелодия? Почему мелодия, лишенная содержания, заставляет нас переживать? Всех, включая детей? Я в свое время посвятил этому целое исследование, но не боюсь повторяться.

Товарищ Жданов, надзиратель над советской культурой, топтавший Шостаковича, утверждал: музыка — это то, что можно напеть. Он был почти прав, сволочь. Просто собственный музыкальный уровень не позволял ему напеть Шостаковича. Рылом не вышел.

А мелодия повторяет интонации нашей речи. И справедливо

это для всех народов мира — английские мелодии перекликаются с английскими интонациями, индийские — с индийскими. Мы никогда не говорим на одной ноте — мы говорим музыкальными интервалами. И чем мы более взволнованны, тем отчетливее звучат эти интервалы. И говорим мы то в миноре, то в мажоре — в зависимости от того, о чем говорим.

Как просто, да? Казалось бы. Так про что там эта мелодия?

Ребята. Музыка — это язык Бога. Мы слышим его через проводников — композиторов, музыкантов. А вот они — они слышат его сами. Не все. Не всегда. Но это ни с чем не сравнимое чувство. Завидно?

Вам нравится, как поют в церкви? Независимо от того, кто поет — профессиональный хор или пять деревенских бабушек? Мне тоже нравится. Причем пение бабушек нравится больше: они слышат Бога, и Бог слышит их.

В XX веке человечество получило сразу много опасных игрушек: атомную бомбу, радио и телевидение, Интернет. Звукозапись. Конечно, впервые в истории музыка стала достоянием миллионов. Хорошо, да? Только не музыка, увы — звуки музыки. Не все ее составляющие, похоже, фиксируются записью. Та самая ниточка, которая связывает музыканта с Небом в момент исполнения, — не записывается. Только ее бледный след. Каждый обрел возможность сколько угодно слушать любимые произведения — в консервах. И как ими научились торговать! Но в консервах Бога нет. Да и ротация никогда еще никому и ничему не шла на пользу.

Человечество, само того не ведая, превратило музыку из принцессы в Золушку. Сегодня девяносто процентов музыки, которую мы слышим (хотим или не хотим), — это фон. В лифте, в баре, в супермаркете, в телевизионных программах, за рулем машины. А мы разговариваем, спорим о чем-то, думаем о другом. Прикрутили потише, чтоб не мешала, и делаем свои дела. Какой, к черту, Бог? Мы просто стали бояться тишины. Мы, оглушенные децибеллами городских улиц, хамской рекламой, болтовней идиотов-радиоведущих, разучились слушать тишину. И голос Бога в музыке для нас уже почти неразличим. А слесари-штамповщики студийного цеха, кующие новый бессмертный хит для певицы Сюси, юные безграмотные диджеи, складывающие свои шедевры из лупов и сэмплов — специальных музыкальных консервиков, для них заготовленных, — все они только думают, что делают музыку. Нет, ребята, вы делаете глушилки. И они хорошо работают.

Вскоре после того, как планету впервые в истории накрыл пластиночный бум, случилась Вторая мировая война, унесшая

рекордное, невероятное количество жизней. Не видите связи? А я вижу.

Человечество, которое не слышит Бога, — долго ли проживет?

О риске

Я устал повторять, что не люблю риск. В этот момент очередной журналист выпучивает глаза и восклицает: «Ну как же, Андрей Вадимович, — вы же занимаетесь такими экстремальными видами спорта — дайвингом, например», — и я в сотый раз объясняю этому недотепе, что дайвинг, вопреки его представлению, не экстрим и даже не спорт, а удовольствие, и что хожу я под воду не за адреналином, а за неземной красотой. А занятие чем-либо с целью получения адреналина кажется мне, извините, родом наркомании. И не надо с этой целью прыгать с крошечным парашютом с недостроенного небоскреба в ночное время — можно просто побегать туда-сюда через скоростную трассу вдали от перехода: в смысле адреналина будет не хуже. Не хочу обидеть экстремалов. Риск я понимаю как неизбежный фактор в ситуации, когда от твоего, иногда моментально принятого решения, зависит что-то очень серьезное — спасение чьей-то жизни, например. Да хоть своей собственной. Тогда ты взвешиваешь все обстоятельства и принимаешь решение, дающее тебе максимальный шанс. Не вижу здесь ничего, что могло бы доставить удовольствие, включая неизбежный выброс адреналина. И казалось мне, что риск — понятие, применимое исключительно к человеку, так как связано оно с мыслительным процессом. Так мне казалось.

Несколько лет назад мы с небольшой компанией друзей путешествовали по Пантаналу. Пантанал — огромная территория на юге Бразилии, сплошь пронизанная реками, покрытая озерами и болотами. Со всего мира сюда едут фотографы живой природы и орнитологи — здесь обитает великое множество водяных тропических птиц. Территория считается национальным парком, и охотиться на ней всем, кроме аборигенов-индейцев, запрещено.

Мы приближались к Пантаналу с севера на древнем раздолбанном джипе, до места назначения и пересадки на лодку оставалось еще миль двести. Места вдоль дороги тянулись исключительно ровные, зеленые, с редкими деревьями. В сезон дождей земля тут может быть полностью покрыта водой, которая с окончанием дождей довольно быстро уходит. Иногда дорога пересекала очередную речку, и я всякий раз зажмуривался — мосты в Бразилии принято ремонтировать уже после того, как они обрушатся, и проезжали мы по гнилым, наполовину обвалившимся бревнам совершенно непонятно каким образом. Под мостами у темной воды вповалку лежали кайманы. Они даже не лежали — они валялись. Они подпускали нас метра на три и

неохотно сползали в воду. Скоро нам надоело их фотографировать, и мы перестали обращать на них внимание.

Когда на дороге на попался первый дохлый кайман, я не поверил своим глазам. Издали он напоминал небольшое бревно, жаркое солнце уже превратило его в мумию, ярко белели зубы. Через пару минут мы проехали мимо еще одного, потом еще и еще. Я не мог понять, почему они оказались на дороге и отчего умерли — я бы еще предположил, что их задавила машина, а только машина в эти края заезжала крайне редко. И тогда наш проводник, негодяй по имени дон Винсенто, рассказал следующее.

В сезон большой воды кайманы покидают реки и озера и в поисках добычи разбредаются по огромной территории. Дожди заканчиваются, вода начинает быстро уходить, и часть кайманов оказываются застигнутыми врасплох. Они остаются сидеть в озерцах, которые с каждым днем мелеют и превращаются в лужи, а затем в лужицы. А дальше происходит вот что: какие-то кайманы принимают решение (по-другому сказать не могу) и отправляются на поиски водоема. Обойтись без воды кайман может недолго: солнце высушивает его кожу, он перегревается и умирает. Так что некоторые достигают цели, а некоторые гибнут в пути — иногда прямо на дороге. А вот те, которые решили не рисковать (а как еще скажешь?), — те гибнут однозначно и поголовно: лужи высыхают до основания. Через несколько миль мы увидели такую лужу на обочине дороги. Длиной она была метра четыре, не более. В луже сидел кайман — над поверхностью воды цвета кофе с молоком торчали бугорки глаз. Этот кайман явно относился ко второй категории — он не собирался покидать лужу ни под каким видом. При нашем приближении он сделал попытку нырнуть, и не смог — глубина лужи этого уже не позволяла. Воды в ней оставалось дня на два. Мы срубили рогатину, поймали каймана (мы, кстати, рисковали: кайман был небольшой, метра полтора, но учитывая его силу и полное наше отсутствие опыта в ловле кайманов — предприятие было не вполне безопасным), связали ему пасть веревкой, завернули в брезент, довезли до ближайшей речки (она оказалась совсем недалеко, он бы дошел, если б решился), развязали пасть и отпустили с богом.

И вот я до сих пор думаю: мозг у каймана более чем примитивный, и размерами и количеством извилин он напоминает куриный.

Чем он думает? Как оценивает ситуацию? Почему решает или не решает рисковать?

Это ведь и есть самый настоящий риск, верно?

Меня мучает один вопрос

Человеческая память не вечна. Потому что ничто не вечно. И когда мне восторженно шепчут, что, скажем, музыка Битлов или Баха останется навсегда — меня корежит. Что-то проживет пятьдесят лет, что-то — пятьсот. Нет, конечно, останутся носители, но я имею в виду именно человеческую память, а не архивы узких специалистов. Мы совсем не знаем музыки Древней Греции, а я не могу поверить, что при общем высочайшем развитии культуры и искусств музыка древних греков была примитивна — просто время ее до нас не донесло. А по поводу того, что время до нас донесло, я иногда мучаюсь вопросом — это действительно лучшее из того, что было создано в эту эпоху, или выбор истории был во многом случаен, либо обусловлен обстоятельствами, к искусству отношения не имевшими, — случилась война и сгорела библиотека императора? Ну хорошо, мы можем во многом восстановить картину того, что творилось сто лет назад.

А тысячу?

В 1913 году в России издавалась масса граммофонных пластинок. Была на них не только музыка — были и анекдоты, юморески, короткие рассказы. Так вот, было издано более ста произведений некоего Дротова и одно — Чехова. Кто такой Дротов? Я раскопал — совершенно бездарный юморист, невероятно популярный в те годы. Так все-таки выбирает ли время безошибочно? А ведь и Чехова забудут. Забудут-забудут. Увы.

У наших родителей культовыми писателями были Ильф и Петров. Говорили цитатами из «Стульев» и «Теленка», по ним, как по паролю, узнавали своих. Читают их сейчас? Всплесками — в момент появления очередной неудачной экранизации. А еще был такой хороший писатель Каверин. Вся страна читала. Помните? Энди Уорхол пятьдесят лет назад произнес: «В XXI веке каждый сможет стать знаменитым». И добавил: «На пятнадцать минут». Как же он угадал, собака!

Никогда еще человечество не пыталось выживать в таком плотном и агрессивном поле информации, им же созданном. Все, что давит на наше сознание и подсознание — радио, телевидение, реклама, — появилось совсем недавно, в историческом масштабе — только что. Мы просто генетически не готовы от этого защищаться. Весь этот поток орет нам про новое. «Покупай новое!» — кричит реклама. «Читай сегодняшнее!», «Смотри сегодняшнее!» Читаем, смотрим.

И знаете, что происходит? Наша память становится короче. Может быть, это самозащита мозга. Потому что в каждую его клетку нам молоточками ежедневно вбивают что-то или кого-то, кого там хранить совершенно не обязательно. А он и не сохранится — завтра перебьют.

Я сижу и беседую с девушкой лет двадцати трех (с девушками более молодыми я потерял способность вести беседу несколько лет назад — резко и навсегда. По причине отсутствия общих тем. А трындеть ни о чем я так и не научился). Девушка образованная, окончила гуманитарный институт, работает гидом. Разговор заходит о памяти. Случайно я назвал фамилию Смоктуновского — и увидел непонимающие глаза. Я навскидку называю имена: Галич? Тишина. Окуджава? Что-то слышала. Бродский? Трифонов? Катаев? Шкловский? Тишина. Аксёнов? Что-то слышала.

Бог ты мой.

А ведь память — это любовь. Потому что помним мы тех, кого любим. Нет памяти — нет любви. И когда человечество, проснувшись утром, не сможет вспомнить, что было вчера, — тогда, наверное, и наступит конец света.

Кстати, память — это не только любовь. Это еще и ненависть. Народом, не помнящим, что с ним творили вчера, очень легко управлять. Ему можно каждый день придумывать новую историю. Только кончается это очень плохо. Помните? Ах, уже не помните?

Про то, как умерла новогодняя сказка

Вы, может быть, и не знаете, но сказки обязательно появляются на свет под самый Новый год. Нет, конечно, никто им не запрещает появляться на свет в любые другие дни года, но уж под Новый год — это просто обязательно, это такая святая и древняя традиция, что она даже не обсуждается.

И вот под самый Новый год, как положено, родилась новая сказка. Точнее, она почти родилась. Чтобы окончательно родиться, сказке надо обрасти словами. Тогда она, подобно бабочке, вылупившейся из куколки, обретает способность взлететь, и становится видна и слышна всем, кто хочет ее увидеть и услышать. И вот уже мамы шепотом рассказывают ее детям перед сном, и дети, улыбаясь, засыпают счастливые, или какой-нибудь пожилой мудрец читает ее молодым веселым балбесам, и балбесам на миг становится грустно и светло.

А пока сказка еще не обрела своих слов, поэтому была не слышна и не видна. Почти никому. Кроме тех немногих людей, которые умеют рассказывать сказки, — поэтому-то сказки в поиске слов к этим самым людям и стремятся. В общем, сказка неслышно вошла в комнату к одному такому человеку и тихонько присела на край стола. «А, это ты? Привет, — буркнул человек. Похоже, у него было не очень хорошее настроение. — А тут как раз для тебя слова принесли. Из журнала. Они говорят, это были самые главные слова в уходящем году. Значит, если сшить тебе из них одежду, то ты станешь Самой Главной Сказкой Уходящего Года. Неплохо, да? Ну, слушай».

И он взял в руки какой-то листок и стал размеренно и скорбно читать, при этом глядя прямо на сказку. Это трудно себе представить, тем не менее дело обстояло именно так. «Америка сосет. Бойкот. Виагра Путина. Похороны науки. Митболы. Оральный секс. Пугачевский бунт. Сердца геев».

«Что это?» — в ужасе хотела спросить сказка, но не смогла — у нее ведь еще не было слов! А человек продолжал: «Внутренности врагов. Если не мы, то нас. Мизулинка. Пыдер. Багаж стилистических разногласий…»

Сказка почувствовала, как неведомая сила сжимает, расплющивает ее, и так маленькую и бессловесную, сметает пылинкой со стола и уносит в черную декабрьскую ночь. А человек, даже не заметив, что ее уже нет, все продолжал: «Підрахуй. Уроки Лимонова. Воля Аллаха. Диктант Рубиной. Курс на параллельное развитие экономического строительства и строительства ядерных сил…»

Господи, помнишь ли ты, что мы еще здесь?

По поводу тайны

Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я совсем не одобряю поступка господина Сноудена. Странно, правда? Я считаю, что пока на планете существует такое понятие, как государство, будет существовать и понятие государственной тайны. И человек, которому эту тайну доверили, а он взял и раструбил ее на весь свет, — государственный преступник. Это нашему президенту, бывшему разведчику, должно быть особенно хорошо понятно. Так что когда он этого самого Сноудена приголубил — выглядело это, на мой взгляд, несколько странно. Приятно, конечно, уесть Америку, но не любым же способом. А профессиональная солидарность, корпоративная этика?

Что он нам там раскрыл, кого и как американцы прослушивали — это другой вопрос.

У меня при слове «тайна» всплывает в памяти раннее-раннее детство. Помните, что такое «секретик»? Что-то как тайный объект (вот интересно — совершенно неважно при этом — что! Все что угодно! Хоть фантик от «Мишки на севере»! Главное — тайна!) клалось в коробочку, коробочка опускалась в специально вырытую в укромном месте ямку, сверху — обязательно стеклышко, чтобы коробочка лежала в уютной пустоте, сверху — земля и всякая маскировка. Секретик надо непременно зарывать вдвоем, одному хранить тайну неинтересно, и обсудить не с кем. От секретиков у всех моих друзей черные ногти, все ходят переполненные важностью хранения тайны. Вообще, советский мир был пропитан тайнами. Я помню, мой папа хотел сфотографировать Музей изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке (мы жили напротив) и его чуть не арестовали — нельзя фотографировать! Да почему? Тайна!

Пытали злые буржуины храброго Мальчиша-Кибальчиша — так и не выдал он им Главной Военной Тайны. А была? Сдается мне, не знал он никакой военной тайны — начитался листовок, наслушался агитаторов-горланов-главарей. Хорошо еще, телевизора не было. Наслушался — и ослепила его ненависть к мировой несправедливости. Его и друзей-мальчишей. Устроили гражданскую войну, порубали, постреляли, выгнали из страны да пересажали миллионов десять — сразу все стало справедливо. Справедливее не придумаешь.

А мы взрослели — и тайны раскрывались одна за одной. Потому что «Тайное всегда становится явным» — талдычили нам взрослые. Изумрудный город оказался сложенным из стекляшек — только сними зеленые очки. Золотой ключик отпер дверку за

старым холстом — и вот она, Волшебная страна. И никакой тайны. А там — что такое портвейн, и как правильно курить, и зачем мальчики отличаются от девочек… Сколько тайн раскрыто!

У меня такое ощущение, что в современном мире тайн не осталось. Взрыв коммуникационных (да и прочих) технологий сделал его маленьким и абсолютно прозрачным. Я имею в виду настоящие, планетарные тайны — например, поймали американцы инопланетян и прячут, никому не показывают. А? Если бы. Нет у них ни черта.

А всевозможные военные тайны — сколько там у кого каких ракет и пороха — на самом деле давно уже не тайны. Так, секретики.

Под стеклышком.

А тут еще Сноуден.

СТРАНЫ И… СТРАНЫ

На полпути к небу

Ну-ка, что вы знаете про Бутан? Ну да, королевство. Исповедуют буддизм. Все? Практически все. Вот и мои познания заканчивались примерно на этом же уровне. И потому решили мы с друзьями пойти в Бутан. Наша небольшая компания раз в год пускается в дальнее путешествие, иногда довольно авантюрное. Первое и главное условие — мы не туристы! Поэтому проложенные маршруты, унылые массовые экскурсии, автобусы, потные толпы с детьми и фотоаппаратами — это без нас. Как правило, мы составляем индивидуальный маршрут, проходящий по действительно диким местам. Там же, где наш маршрут неизбежно пересекается с местной цивилизацией, мы стараемся оказаться в двух ее точках — на самом верху и в самом низу. Например, завтра мы ночуем в лучшем отеле (заодно и помоемся) а послезавтра обедаем в рабочей столовой на рынке в крохотной деревеньке, где и белого человека-то не видели. Примерно так. Составить такой маршрут и, главное, обеспечить осуществление задуманного — дело непростое и довольно дорогое, но я еще ни разу ни о чем не пожалел.

Вообще, Бутан еще несколько лет назад был полностью закрыт для посещения иностранцами. Сейчас открыли, но ты должен платить за это приличную сумму. Не помню точно, но что-то около двухсот долларов в сутки. За что, куда? А на содержание Бутана. Не нравится — езжайте в Турцию.

Бутан — страна, где ежегодно официально измеряется уровень счастья населения. Не знаю, с помощью каких механизмов. Но по их данным выходит, что уровень счастья у них один из самых высоких в мире. Если не самый высокий. Возможно, так и есть — за две недели я ни разу не слышал, чтобы кто-то из местных в разговоре хоть чуть-чуть повысил голос, и спокойные улыбки не покидали их лиц. Это были улыбки не для нас — гостей-иностранцев — это они так смотрят на мир. (Маленькая зарисовка. Мы остановились на горной дороге у водопада сделать несколько фотографий. Спустя пару часов, уже в гостинице, мой товарищ обнаружил, что потерял мобильник — и скорее всего у того самого водопада. Еще через час в гостинице раздался звонок — не терял ли кто из постояльцев у водопада мобильный телефон. Постояльцев кроме нас в гостинице не было. А еще через два часа, проехав сто с лишним километров на какой-то невероятной развалюхе, местный житель, улыбаясь, привез телефон. Отдал и отказался от денег.) Почти все мужское население — монахи либо послушники, женщины выращивают

рис.

Правит Бутаном действительно король — молодой и красивый, а жена его (кажется, она была фотомоделью) — просто красавица. Начал король с того, что посадил своего ближайшего родственника-коррупционера и пообещал в ближайшие годы соединить все деревни страны дорогами. После этого он стал народным любимцем. Не знаю, правда, как пойдет дело с дорогами — деревни часто стоят на вершинах гор, горы покрыты совершенно непроходимыми доисторическими лесами. Проложить туда дорогу — сложнее, чем превратить Сочи в столицу Олимпиады.

Нет, кое-какие дороги есть. Построены они давно, и с тех пор человеческая рука их не касалась. Мы ехали по такой пару дней. Справа — ничем не огороженный обрыв, метрах в восьмиста внизу шумит река. Слева — стена, покрытая растениями из фильма «Парк Юрского периода». Над головами нависают глыбы величиной со средний дом, некоторые из них уже обрушились на дорогу, завалив ее на три четверти, и ты все время ловишь себя на мысли — это случилось двадцать лет назад или только что? Ни человека, ни машины, ни указателя, ни дорожного знака. Часа через четыре впереди замаячила табличка. Пока мы приближались, я гадал — что на ней может быть написано? «Камнепад»? «Снизьте скорость»? «Опасный участок дороги»? Я не угадал. Сквозь слой ржавчины на железном листе проступали слова: «ENJOY THE BEAUTY OF NATURE». А?

Монастыри расположены тут и там: их достаточно в долине, и архитектура их весьма своеобразна и отличается от того, что мы видели, скажем, в Индии или Мьянме. При всей буддийской пряничной праздничности их отличает строгость и даже некоторая суровость форм — стены слегка наклонены внутрь, что искусственно усиливает масштаб, а маленькие редкие окна дополняют картину, и в общем не очень большое здание кажется огромным. Но масса монастырей построена в таких недоступных местах, на таких горных обрывах, что непонятно не то, как его там построили, а то, как туда вообще забрались люди. Забрались, тащили вверх по бесконечному, иногда отвесному склону огромные камни, вырубали в скале площадку. Как, почему здесь? Будда явился и велел.

Вообще, одна из загадок, которую я безуспешно пытался разгадать, выглядит так: представьте себе довольно крутое ущелье глубиной километра полтора — это если строго по вертикали. По дну ущелья бежит река, по узким ее берегам — убогие плантации риса. На самый верх ведет тропка, которую я бы и тропкой назвать поостерегся — так, направление. Наверху

расположена деревня. Каждое утро женщины, навьючив на спины немыслимые корзины, легко бегут вниз по осыпающемуся скользкому склону — как раз они этот рис и выращивают. К вечеру — обратно, легко, как козочки, причем корзины их набиты черт знает чем. На ногах у них драные вьетнамки — не самая удобная обувь для хождения по горам, но это их совершенно не смущает. Вопрос — а почему не построить деревню внизу, у воды — встречал полное непонимание и даже сочувствие: там жили наши деды и прадеды, там монастырь. Да почему там? Ближе к Солнцу, ближе к небу.

В одну из таких деревень нас и вознамерился повести наш проводник Ёши (мы для удобства звали его Ёжиком) — он клялся, что подъем будет некрутым и займет часа два, от силы два с половиной. (Потом мы поняли, что он не врал — у местных этот маршрут столько бы времени и занял.) Причины похода именно в эту деревню у Ёжика были веские — там жили его родители, он ушел из дома несколько лет назад, дослужился в монастыре до некоего сана и собирался вернуться на коне — монахом да еще с уважаемыми белыми гостями. По случаю нашего с ним появления в деревне планировалась специальная служба и огненная пуджа — обряд, оказавшийся невероятно похожим на нашу Масленицу с с жиганием чучела зимы.

За месяц до нашего путешествия мне прооперировали колено, и я всерьез опасался, что буду тормозить нашу маленькую группу. Ёжик успокоил меня — он найдет для меня ослика.

Выступили мы рано утром. Со склона горы стекал густой туман, вершина скрывалась в облаках, накрапывал мелкий дождь. Меня действительно ждал ослик с милым и печальным лицом. Я довольно дерзко вскочил на него, почувствовав себя полководцем, и колонна из шести бойцов тронулась в путь. Через некоторое время обнаружилась весьма неприятная особенность местного седла: седла как такового не было. Его заменяло сложенное вчетверо байковое одеяльце, подвязанное к брюху ослика веревочкой. Еще две веревочки с петельками на концах изображали стремена. Поэтому пока ослик нес меня по горизонтальной тропинке, сидеть на нем, хоть и с трудом, было можно. Но скоро тропинка пошла в гору, скакун поддал ходу, и я благополучно съехал с его спины назад и грохнулся на камни. В течение следующих пяти минут я проделал этот трюк четырежды и понял, что ослик как транспортное средство себя изжил. И я пошел пешком — как все.

Что вам сказать? Подъем занял семь с половиной часов. От дождя тропинка стала скользкой, как мыло, ноги постоянно срывались, и от долгого падения спасали только корни деревьев,

густо росших по бокам. Я полностью использовал свое второе дыхание. Потом третье и четвертое. Использование вышеперечисленных дыханий осложнялось еще и тем, что мы находились где-то на трех тысячах метров над уровнем моря, и воздух был весьма разряжен. Я проклял погоду, горы, Ёжика, идиотский обычай селиться на вершинах и себя самого, нескладного и невыносливого. Самый страшный момент ждал нас почти у вершины, когда вдруг показались черные дома деревни и мы ввалились в первый и без сил упали на дощатый пол. Мы не могли даже разговаривать друг с другом. Через три минуты Ёжик, виновато покашляв, сообщил нам, что это еще не его деревня — до его деревни еще метров шестьсот вверх. И нас там очень ждут — мы припозднились. В этот момент я понял, что убить человека, в принципе, наверно, совсем несложно. Но мы не убили Ёжика — у нас не было на это сил. Мы встали и пошли.

Перед деревней выстроились все жители в праздничных одеждах. Они пели и танцевали. Стоя под мелким дождем, мы выдержали и это. Потом резко стемнело, нас отвели в дом, где мы снова рухнули на доски пола, не раздеваясь, и застыли. Нам несли какие-то матрасы, принесли горшок с супом — мы не могли пошевелиться.

Ночью я узнал две вещи: во-первых, блохи, оказывается, кусают не всех. Во-вторых, непрерывная ночная буддийская служба с пением, тарелочками, барабанами и невероятно громкими и страшными тибетскими трубами — таким звуком архангел провозгласит когда-нибудь конец света — вот эта служба, накладываясь на полуобморочное состояние измученного организма, рождает в подсознании невероятные картины. Служба шла в нашем же доме за занавесочкой, и ничего изменить было невозможно. Это был потрясающий опыт — духовный и физический.

А утром мы выползли из дома на обрыв — от вчерашнего дождя не осталось и следа — и поняли, почему местные жители много веков живут на вершине. Но чтобы ощутить эту красоту, там надо оказаться — фотографии бессильны.

В последний день нашей экспедиции меня уговорили сварить борщ. Я не страдаю пищевой ностальгией и легко употребляю то же, что и местное население, но с едой в Бутане непросто — она крайне скудна и служит исключительно для поддержания жизни. Это плохой рис, кое-какие тушеные овощи и среди них обязательные зеленые стручковые жгучие перцы, острота которых не поддается описанию. Все остальное напоминает скорее птичий корм. Не знаю, почему остановились на борще — видимо, я забылся и вкусно про него рассказал. Не хочу хвастать, но в

борще я кое-что понимаю.

В общем (дело происходило уже в гостинице), мне достали все ингредиенты — свеклу, капусту, морковку, фасоль, лук, зелень. Даже каперсы. Черный перец. Некоторые проблемы возникли с мясом — мяса бутанцы не едят, поэтому в Бутане его и нет. (Рыбу, кстати, едят, но, увы, чисто теоретически, так как ловить ее в реках Бутана запрещено.) Мясо обещали привезти утром из Индии — она располагалась совсем неподалеку. Тут бы мне насторожиться — я знаю отношение индусов к коровам (а мне-то нужна была именно говядина), но я не подумал об этом. А зря. Впрочем, выбора не было.

Утром действительно привезли мороженое мясо в целлофане. Выглядело оно вполне приемлемо. Ребята отправились в очередной монастырь, а я пошел на кухню. Было в моем распоряжении часов пять. Я поставил большой бак с водой на огонь (борща должно быть много) и опустил туда мясо. Оно быстро оттаяло, и чудовищный запах пополз по помещению. Мясо было совсем нехорошим. Если это действительно была говядина, то индусы наверняка дождались, пока священная корова умрет своей смертью. Причем сколько она потом пролежала на жаре в пыли на дороге — никому не известно. Если же это был як — данный зверь сам по себе обладает весьма специфическим запахом, независимо от того, умер он уже или еще нет.

Я покрылся холодным потом — у меня не было путей к отступлению. Я слил воду, покрывшуюся коричневой пеной, тщательно промыл мясо, налил свежей воды и снова поставил на огонь. Через полчаса вода закипела, и я понял — лучше не стало. Оставалась последняя надежда. Я снова слил испорченную воду и стал перебирать мясо, к этому моменту распавшееся на куски. Куски оказались разными! Удача! Тщательно обнюхивая каждый, я определил, что испорченных где-то чуть больше половины. Трупные части я бросал в открытое окно, где уже давно, совершенно неподвижно и даже не дыша, сидели бездомные собаки — они такого праздничного запаха отродясь не слышали. Мясо не долетало до земли. Оставшийся продукт я опять сложил в бак, в третий раз залил водой, и — все наконец пошло по накатанным рельсам. А наваристость борщу, кстати, дает не мясо. А — вы удивитесь — фасоль. Мои бойцы были счастливы, бутанцы пробовали, удивлялись и требовали добавки, водка лилась рекой, а я никому не рассказал о том, что я пережил.

Мы прошли и проехали полстраны. Мы видели удивительные монастыри, часами сидели на службах. Мы привезли фильм и массу фотографий — они не дают никакого представления об этой стране — что-то самое главное не записывается на матрицу,

не укладывается в пиксели.

Иногда ночью, когда за окном стучит дождь, я сквозь полусон слышу спрятанную в этом дожде бесконечную и монотонную буддийскую мантру. И сразу становится очень спокойно — они поют.

О безумии

За всю свою жизнь я, пожалуй, единственный раз встречал по-настоящему безумного человека — не считая нескольких посещений дурдомов. Дело было в Восточной Африке, был он капитаном шхуны и звали его Йохан. Но — по порядку.

Пятнадцать лет назад я снимал для телевидения фильмы про подводную жизнь. Особенно меня интересовали акулы — я обожал их с детства, всяческое вранье про их кровожадность воспринимал как личное оскорбление и в фильмах своих стремился доказать, что уж для человека с аквалангом акулы не представляют никакой опасности. С этими съемками мы мотались по всему свету и иногда попадали в совершенно удивительные места.

Остров Бассас да Индиа расположен в Мозамбикском проливе аккурат между Мозамбиком и Мадагаскаром. Островом его можно назвать с большой натяжкой — это риф, образованный жерлом древнего вулкана диаметром около трех миль. В моменты отлива его поверхность возвышается над гладью океана сантиметров на пятьдесят, не более, во время прилива он полностью скрывается под водой. До открытия судоходства по Суэцкому каналу, то есть до 1869 года, морские пути лежали вокруг Африки, и на этом рифе закончили свой путь сотни кораблей. Когда океан отступает, видно, что поверхность его украшает множество старинных и совсем древних якорей — все, что осталось от разбившихся фрегатов, шхун и каравелл — дерево в тропических водах сохраняется совсем недолго. Я знал, что место это совсем дикое, дайверов там не бывает, и акулы должны быть непуганные — явление сегодня уже редкое.

Так вот, капитана шхуны, которую мы арендовали для нашей экспедиции, звали Йохан, он был из Южной Африки. Когда я увидел его посудину, я сперва подумал, что это реплика для ублажения туристов — и ошибся. Это была настоящая древняя двухмачтовая шхуна — прямо из «Детей капитана Гранта» и примерно того же возраста, причем, похоже, в доке за это время она не бывала ни разу. Правда, имелся в наличии кое-какой мотор.

Команда оказалась малочисленной, странной и неприветливой. Она состояла из моториста — он однажды показал свою чумазую рожу и навсегда скрылся в трюме, юного черного паренька, который лопотал по-своему, ни черта не понимал по-английски и был прозван Максимкой, и здоровенного мужика в бакенбардах, который по утрам сидел на палубе и

чистил железяки, очень напоминавщие детали ручного пулемета. Впоследствии мой товарищ Марк все же разговорил его, и он оказался настоящим солдатом удачи, провоевавшим в Мозамбике десять лет за деньги. Еще имелись в наличии две одинаковые тайские девушки, которые появлялись, когда нас надо было кормить — все остальное время они, похоже, содержались взаперти в капитанской каюте. Кормление являло из себя пытку — обеденный стол был прикручен на корме намертво, как и две длинные лавки вдоль него. Лавки отстояли от стола сантиметров на семьдесят, и дотянуться до тарелки было практически невозможно. К тому же шхуна очень плохо держала волну, тарелки то и дело летели на палубу, и тайки с каменными улыбками несли новые.

За сутки мы дошли до острова, встали на якорь с подветренной стороны — болтать наконец перестало — и занялись работой. Капитан поглядывал на нас, как на малых неразумных детей — он не понимал, чем мы занимаемся и зачем нам акулы. На вторые сутки я узнал, чем занимается он.

Капитан Йохан искал сокровища. Он составил карту острова, изучил все немногочисленные архивы — свидетельства кораблекрушений. И тут возникло совершенно неожиданное препятствие: оказалось, что Французское государство (а остров находится под юрисдикцией Франции) тоже в курсе возможного наличия сокровищ на морском дне и не собирается никого допускать к этим поискам. Йохан пришел туда на катере — военный патруль прогнал его на следующий день, чуть не арестовав. Йохан арендовал гидросамолет — французы пообещали его сбить. Но не так-то прост был капитан Йохан — он выяснил, в каком случае морской кодекс позволяет тебе бросать якорь невзирая на запреты: исключительно если ты находишься на парусном судне и оно терпит бедствие либо требует починки.

И тогда Иохан купил «Миеко» — разваливающуюся двухмачтовую шхуну начала XX века. Он подходил к острову и объявлял, что шхуна сломалась и необходим срочный ремонт — и французы ничего не могли с ним сделать — по крайней мере несколько дней. А Йохан надевал акваланг и с утра до ночи шарил по дну. Останки кораблей в тропических морях быстро зарастают кораллами, так что нашел Йохан немного — ящик английского фарфора XVIII века и пару корабельных пушек, но это его не обескуражило — когда он начинал говорить о сокровищах, глаза у него загорались нездешним лиловым светом. Если бы я знал все это на берегу, я бы ни в коем случае не вписался в эту авантюру. Но было поздно.

Ветер с каждым днем крепчал, и на четвертый день стало

ясно, что надо уходить — впрочем, материала мы наснимали достаточно. Мы подняли якорь, и как только вышли из-за острова в открытый океан, поняли, что дело плохо — в океане бушевал пятибалльный шторм, и прогноз обещал усиление ветра. Шхуну клало с борта на борт с амлитудой сто двадцать градусов. Абсолютно спокойный капитан Йохан посоветовал нам разойтись по каютам и сообщил, что его «Миеко» обладает такой плавучестью и балансом, что даже если нас перевернет — достаточно будет всем прилечь на один борт — и шхуна перевернется обратно. После этого он заперся с тайками в своей каюте.

Быстро стемнело. Мы с Марком, обливаясь потом, лежали вдвоем на моей полке, потому что только она была снабжена специальной сеткой, которая туго пристегивала тебя к койке на случай шторма. Сетка не помогала — то я валился на Марка, то он покрывал меня всей своей сотней килограммов. Где-то через час этой средневековой пытки неверная шахтерская лампочка над нашими головами мигнула и погасла. Еще через мгновенье остановился двигатель. «Вот теперь п…дец», — очень спокойно сказал Марк. Волны били по бортам нашей посудины с такой силой, что каждый удар казался предпоследним. Трещали мачты, хлестали по бортам оторванные ураганом снасти, с грохотом пролетела мимо иллюминатора наша единственная шлюпка. Забавно — в этот момент страха уже не было. Я как бы отделился от себя и наблюдал за происходящим с печальным интересом. Я не помню, сколько это продолжалось.

Мы не утонули. Взошло солнце, шторм утих, и мы сошли на берег. «Миека» затонула через две недели — капитан Йохан, наскоро подлатав шхуну, опять отправился за сокровищами и опять попал в шторм. Говорят, все спаслись. У таких безумцев, как капитан Йохан, как правило, очень крепкие ангелы-хранители. Они держат.

Про Олимпиаду

Никогда я, надо вам сказать, не был спортивным болельщиком — стадные инстинкты меня пугали и отталкивали. Хотя отец очень любил посмотреть хороший футбол или хоккей — через маленькое черно-белое окошечко телевизора. А вот на Олимпиаде в Калгари (восемьдесят восьмой год, если кто не помнит), на финальной хоккейной игре, когда наши окончательно разделали всех, я сидел у самого бортика, практически с запасными игроками, и когда метрах в двух от меня кого-то по ходу игры приложили к борту, и раздался грохот, и борт задрожал, я вдруг понял, что хоккей — это совсем не то, что мы видим по телевизору, — это битва, это бой гладиаторов.

Нет, болельщиком в сакральном смысле я так и не стал. А вот на Олимпиадах бывал часто. Посчитал и даже удивился — Калгари, Турин, Ванкувер, Лондон… Москву восьмидесятого даже не считаю — ее неожиданная пустота, внезапные напитки, иностранные сигареты и индивидуально расфасованный финский сервелат произвели сильное впечатление, не скрою, но неприезд американской сборной сделал Олимпиаду какой-то не совсем настоящей, а потом вдруг умер Высоцкий, и очередь к театру на Таганке перекрыла все очереди на стадионы, и даже улетающий с закрытия игр мишка (хотя трогательно было придумано) отошел на второй план.

В Калгари (заря перестройки!) я приехал с небольшой группой артистов поддерживать боевой дух наших спортсменов. В силу этой самой зари перестройки все было по-новому и весьма наивно. Наверно не вспомню весь состав — певица Катя Семенова (замечательная, смешная), певец Мартынов (царствие небесное), артист театра Маяковского Фатюшин (царствие небесное), фокусник Данилин, я, кто-то еще. Жили мы в странном лесном пионерлагере километрах в тридцати от города — Олимпиада шла совсем рядом, но практически мимо нас. Предполагалось поднимать боевой дух спортсменов нашими концертами перед их выступлениями на играх. Идея, по-моему, дурная — спортсмены были целиком сосредоточены на выполнении своей задачи, мы своими песенками их только отвлекали. Помню, как какие-то комсомольские шишечки бегали втихаря продавать прямо перед стадионом билеты на соревнования — билеты им выдавались совсем не для этого, и мне было стыдно — за страну, за них. Еще на всю жизнь запомнил, как мы летели домой спецрейсом с нашей сборной по хоккею (а какой составчик был!), и финал отыграли только вчера, и они (мы!) увозили из Канады золотые

медали, и Тихонов (они говорили — Тиша) не то чтобы разрешил, а — не возразил по поводу того, чтобы ребята немного выпили — и как же мы восхитительно выпили! И пели песни, и Макаров собственноручно написал мне в записную книжку текст поразившего меня дворового шедевра — «я б назвал такую королевой, что у нас давно запрещено…»

На прощание в Калгари нашей команде подарили белые ковбойские шляпы — так же естественно для Канады, как у нас подарить матрешки. Мы приземлились поздно вечером, мела метель, на поле играл оркестр. Ребята машинально надели шляпы (а куда их было девать?) и потянулись к выходу. Вдруг ворвался, забегал какой-то мелкий гэбэшник, крысеныш, — немедленно снять американские шляпы! И наши бойцы, герои, испуганно и послушно сняли. И мне опять стало стыдно. Даже не знаю, за кого.

В Турин меня привезли в качестве факелоносца. Я пытался отказаться — надо же красиво бежать и нести! — но меня уверили в том, что главное — участие. Да и компания собралась хорошая. В общем, полетел.

Генеральным спонсором Олимпиады был тогда, кажется, «Самсунг», и всем заправляли корейцы. Это были очень подробные и внимательные люди. Они проинструктировали нашу команду (вместе и по отдельности) раз пять. Каждому для несения факела полагался участок в триста метров. Я в принципе смирился со своей участью и просил только об одном: весь Турин состоит из весьма крутых горок, а поскольку мне месяц назад прооперировали колено — поставьте меня, пожалуйста, господа, где-нибудь под горку. Иначе общая красота может быть непоправимо нарушена. Конечно, сказали корейцы, даже не сомневайтесь, у нас все записано.

Подготовка к процессу напоминала подготовку к террористической акции. Нас погрузили в тесный минивэн, подвезли к какой-то переполненной народом кофейне, где мы должны были переодеться в олимпийские костюмы (по очереди, в сортире, вызывая изумление посетителей!), после чего на этом же вэне отвезли на трассу и расставили по местам. По обочинам уже ликовал и бесновался народ, сверкали фотовспышки. Я взглянул на уготованный мне участок и окаменел — это была самая крутая горка в окрестностях Турина. Протяженностью (да и высотой) как раз метров триста. Вэн уехал, что-либо менять было поздно. Я стоял один, красивый, посреди совершенно пустой мостовой, в руке у меня располагался факел (тяжелый, собака!), и ко мне неумолимо приближалась процессия — открытый грузовичок с телекамерами, факелоносец с горящим символом Олимпиады,

специальный спортсмен, бежавший справа от него. Была придумана такая подстраховка — мало ли что, вдруг споткнется, уронит. Или из толпы какой-нибудь безумец выскочит. Процессия приближалась, ее сопровождала нарастающая волна криков и аплодисментов. И вот они рядом со мной (волнение, между прочим, жуткое!), вот я поджигаю свой факел от факела (горит!) и начинаю бежать в нужном направлении. Я рассчитываю свои силы до последнего вдоха, до последнего удара пульса. Весь мир сейчас смотрит на меня.

Спортсмен-охранник пристраивается справа. Он настоящий спортсмен, ему эта горка — семечки, это для него вообще не бег, ему скучно. И он затевает со мной неспешный разговор — кто я, откуда, чем занимаюсь? И я понимаю, что это мой конец: бежать и еще разговаривать с этим негодяем выше моих возможностей, а не отвечать просто невежливо. Тем не менее я пытаюсь (еще улыбаясь в камеру, которая едет передо мной!) хоть как-то имитировать бег и поддерживать беседу, метров через сто плюю на все и перехожу на шаг. Горделиво. И не отвлекаясь больше на идиотские вопросы. Я дошел.

Ребята! Сегодня у нас Олимпиада в Сочи. Я знаю, что я рискую навлечь на свою голову, и тем не менее: давайте хотя бы на это время отделим мух от котлет. Да, опять наворовали немерено, и как с гусей вода. Да, даже факелы нормально горящими сделать не получается. Но. Это единственный и, по-моему, последний в мире праздник такого масштаба, и он призван не ссорить, а объединять людей всей планеты. И это сегодня необыкновенно важно. И наши спортсмены будут очень-очень стараться победить. А мы будем их поддерживать и за них болеть. Вы будете? Я буду.

А с воровством будем разбираться потом. Или не будем — как обычно.

Монголы не едят рыбу

Юрта ставится очень быстро — меньше чем за час. Каркас стен представляет собой гармошку из реек — эта штука раздвигается и сворачивается в круг. Центр крыши — деревянное колесо с отверстиями по торцу — в них вставляются шесты, несущие крышу. Другими концами они упираются в уже стоящий каркас из реек. Конструкция накрывается «пирогом» из войлока и ткани вроде тонкого белого брезента. Чтобы юрту не унесло ветром, делается простая система растяжек-противовесов из каната и трех приличных камней — один свисает внутри по центру почти до пола, два других прижимают юрту снаружи. С их же помощью можно задернуть верхнее окно-колесо, если дождь или снег. Или открыть — если горит огонь или жара. Если совсем жарко — напротив входа от земли поднимается часть покрытия — кондиционер готов. Ветры, кстати, здесь совсем не такие, к каким мы привыкли: у нас дунет и перестанет, и опять дунет, как будто кто-то набирает воздух, чтобы дуть. Здесь ветер может часами и днями давить в тебя со страшной силой, не успокаиваясь ни на секунду, не меняя ни скорости, ни направления. В этом есть что-то нечеловеческое. Просто невозможно представить себе, какие чудовищные массы воздуха с таким упорством двигаются над землей — зачем? И вдруг раз — как выключили. Ни дуновения.

Я просыпаюсь в четвертом часу ночи оттого, что печка-буржуйка в центре нашей юрты почти прогорела: сквозь отверстия в дверце видно, что угольки еле тлеют. Нельзя упустить момент: погаснут — потом разжечь будет куда труднее. В былые времена посреди юрты просто разводили костер — теперь ставят маленькую буржуйку. Несколько минут борюсь с нежеланием выползать из-под двух одеял — холодно. Днем у нас тут плюс тридцать, ночью — восемь. Потом надеваю на лоб маленький фонарик (очень полезная вещь — профессор Штильман, мой сосед по юрте, отправился вчера ночью на двор, пренебрег фонариком и наступил на спящего яка), задерживаю дыхание, как перед прыжком в воду, выкатываюсь из-под одеял, открываю печку (успел!), закладываю туда несколько лепешек кизяка. Если кто не знает, кизяк — это высохшие на солнце верблюжьи, лошадиные, коровьи какашки. Некоторые особо брезгливые люди полагают, что кизяк пахнет. Чушь собачья — ничем он не пахнет, трава и трава. Горит жарко, но, увы, довольно быстро.

Следующее пробуждение уже утром: солнце встает поздно, около семи (это в начале августа — я думаю, какая-то нескладуха с часовыми поясами), быстро начинает теплеть. Я слышу, как

снаружи хрупает травой лошадь. Это не значит, что она прямо за дверьми — скорее всего до нее метров сто. Просто тут такая тишина, какой я не слышал нигде и никогда.

Тишина и пространство.

Окрестности озера Ховсгол (да и само озеро) напоминают Байкал. Озеро, кстати, соединяется с Байкалом рекой. И ведь на Байкале тоже пространства — ого-го, а ощущение пространства совсем другое. Оно не связано с тем, что видишь, например, на горизонте что-то порожденное цивилизацией. Нет, отошел далеко, ничего не видишь, но чувствуешь, что вон там по берегу за горизонтом — Листвянка, а за ней Иркутск. А в монгольской степи это ощущение покидает тебя начисто. Не знаю почему. Тоже ведь где-то Улан-Батор.

Монголия расположена высоко — мы мотаемся между семьюстами и тысячью с лишним метров над уровнем моря. Поэтому такие перепады в температурах. Поэтому разреженный воздух. Я это чувствую. Помню, в советские времена посылали космонавтов в горнолыжный лагерь на Домбай как раз на высоту 1200 метров — то ли для реабилитации, то ли считалось, что им полезно. Не знаю. Лично я, устроившись на сиденье джипа, начинаю то и дело впадать — даже не в полусон, нет: это какое-то очень детское и забытое состояние, когда ты не спишь, но чудесные видения совсем рядом, касаются тебя самым краешком. Я понятно объясняю?

Река Делгерморон — быстрая, прозрачная и холодная. Сплав. Вторая-третья категория. Не страшно. Может быть, потому что на плоту с нами профессионал, который в критические моменты берет на себя командование, да и основную работу. За камнями стоят здоровенные таймени. Монголы не едят рыбу — вообще. К тому же река относится к национальному парку. Можешь поймать тайменя — но выпусти. Никогда не понимал этого иезуитства.

Еда в Монголии, как и природа, за тысячи лет не изменилась. Никаких изысков. Никаких специй. Еда — это чтобы жить. Вареное мясо, вареные потроха. Рецепт: возьмите небольшую козу, убейте ее, снимите шкуру, выньте потроха, разрезав тушку минимально сзади. Разведите большой костер и обожгите (не скажу — обжарьте) тушку снаружи. Нагрейте в костре десяток камней размером с кулак и засуньте их длинными железными щипцами внутрь козы. И накройте это дело на часик чем-нибудь теплым. Это праздничное блюдо. Вкусно, между прочим.

Пустыня Гоби оказалась совсем не такой, как я ожидал, — я думал, песчаные дюны, белое солнце пустыни. Нет — бескрайняя равнина, тут и там видны невысокие серые — скалы, горы? Нет, за миллионы лет ветер и вода превратили их в причудливые

фигуры, и не верится иногда, что человек не приложил к этому руки. Впрочем, приложил — многие из них покрыты древними рисунками и знаками. Тут и там встречаются захоронения — мы научились их видеть довольно скоро. Кто были эти люди? Чему они радовались? Как растили детей? Как захватили полмира?

Земля под ногами не совсем безжизненна — верблюжья колючка (как верблюд срывает ее такими мягкими губами?) и сплошь до горизонта — кустики невысокой, сантиметров в десять, зеленой травы. Оказалось, дикий лук. По вкусу практически неотличимый от домашнего. Пустыня Гоби покрыта диким луком. Поэтому мой верблюд периодически рыгает луковым духом. Больше он (в отличие от лошади) ровно ничем не пахнет. Держусь за передний горб — абсолютно старый бабушкин ковер над диваном. Можно бесконечно смотреть, как верблюд переступает своими копытами — их и копытами-то не назовешь: они мягкие, снизу как будто подбиты замшей, и похоже, что внутри работает какая-то гидравлика. С верблюда не соскочишь, как с лошади — чтобы тебя ссадить, он складывается в три приема, медленно и с достоинством: раз — опустился на передние колени, два — на задние, три — прилег на брюхо. Пожалуйста. Выход слева.

А лошади в Монголии маленькие, но это не нарушает их пропорций.

И вот еще что: когда монгол скачет по степи — он поет. Скачет по бескрайней степи и поет.

Я завидую ему в этот момент.

Икона

Патриарх наш, помнится, сказал — самое убедительное для него доказательство существования Господнего — это то, что люди в Него до сих пор верят.

Ну, не знаю. Почему слово «вера» сразу тянет за собой — «в Бога»? Верят же не только в Бога. В победу коммунизма, например. Или в конечное торжество мировой справедливости.

А она есть?

Интересно — самых главных, базовых слов словари избегают. А в Большом энциклопедическом написано: «ВЕРА — состояние души верующего». Гениально. Мне бы и в голову не пришло. Нет, видимо, вера — это все-таки в Бога. В победу коммунизма — это не вера, а убеждение. Беспочвенное.

Много лет назад случайно повстречался в Америке с давним-давним приятелем — еще по подпольным рок-н-ролльным делам. Он, оказывается, уехал в Штаты и стал священником. Сидели, выпивали, беседовали о доказательствах существования Бога. Приятель мой говорил, что в зависимости от склада характера человек выбирает для себя как наиболее убедительное то или иное доказательство — кто космологическое, кто экзистенциальное… Это практически тест — как у тебя голова и душа устроены. На меня, например, наибольшее впечатление произвело доказательство нравственное: в самом деле, что-то же заставляет нас поступать вопреки собственной выгоде?

А вообще доказывать существование Бога, на мой взгляд, совершенно ни к чему — представьте себе, доказали вдруг стопроцентно, и вера тут же умерла: она превратилась в знание. А Знание и Вера — очень разные вещи.

Давайте я вам лучше расскажу историю про северную икону. Само слово «икона», сама музыка этого слова — удивительна: там смирение и тихая печаль, запах воска и Времени, уложенного в столетия. Есть в русском языке такие точно звучащие слова.

Никогда я не считал себя ни знатоком, ни коллекционером икон. Всегда, как казалось мне, разделял: икона как произведение искусства, написанное художником, и икона как предмет поклонения, нечто сакральное. Первое интересовало меня больше.

Середина восьмидесятых. Мы небольшой компанией путешествуем по северу — Архангельская область, Мезенский уезд, деревня Кимжа. Огромные, как дредноуты, дома из черных необхватных бревен, из оставшихся жителей — бабки, правнучки сбежавших сюда староверов. Здесь никогда не было крепостного

права. Бабки суровы, и восхитительный их северный юмор под этой суровостью разглядишь не сразу — сначала тебя должны принять. Или не принять. И вера у этих бабок особенная — не кремлевско-показательная, а тихая и бесконечно глубокая. Это ощущается просто физически, и не надо с ними об этом разговаривать — а они и не будут. В деревне сохранилась старая бревенчатая церковь, она закрыта, но это, кажется, бабушек не печалит: Бог — с ними, с каждой в отдельности, у каждой в душе. В нашей компании мой товарищ, человек ушлый, имеющий к иконам явный интерес, причем отнюдь не альтруистический. Мы пьем чай в доме бабки Матрёны. Бабка Матрёна жалуется на здоровье, говорит, что осенью собирается в дом престарелых в Архангельск — зимой одной совсем тяжело. В красном углу у Матрёны висит очень необычный Георгий Победоносец — старый, ковчежный, квадратной формы. Мой товарищ не сводит с него глаз, и глаза его горят. Весь вечер потом он уговаривает меня побеседовать с Матрёной насчет продажи — сам что-то робеет. Никогда с ним такого не бывало. «Нет уж, друг мой, — говорю я, — тебе надо, ты и проси. Зайди и сам попроси. И учти — продать не продаст, а просто отдать может». Я этих северных жителей знаю лучше, чем он.

Утром следующего дня я иду на рыбалку, а мой товарищ направляется к бабке Матрёне. Я вижу, как он доходит до ее калитки и — останавливается. Я возвращаюсь с реки через пару часов и с изумлением застаю его, стоящего на том же месте в той же позе. Он не узнает себя. Он так и не смог войти. И не попросил. Язык не повернулся. Притом что опыт в этой области имел большой.

Так что где кончается икона-картина и начинается икона-чудо — большой-большой вопрос.

О чуде

Чудо — это, строго говоря, всего лишь явление, выходящее за рамки нашего понимания. Так сказать, за пределы системы координат. Поскольку человечество, несмотря на спонтанные вспышки гордости и самолюбования, только еще движется по пути познания мира — мы буквально окружены чудесами. Например, электричество: как оно работает, мы знаем, а что это вообще такое — нет. Какие электроны? Какое направленное движение? Кто их видел? Или, скажем, гены. Мой сын очень похож на меня (а я — на своего отца), мы говорим — гены. Но почему он в точности, как и я, не вешает одежду перед сном на вешалку или на стул, а аккуратно раскладывает на полу перед кроватью (причем подсмотреть у меня он никак не мог!) — это вот что? Тоже гены? Не понимаю, как гигантские железные машины, весящие десятки и сотни тонн, летают по воздуху и плавают по воде. И не надо мне про Архимеда и Ньютона — железо плавать не может. Чудо. Чудо, когда негромкие звуки, которые человек извлекает из странного деревянного предмета с натянутыми на нем жилками и проволочками, заставляют других людей плакать. Чудо, когда элементарное влечение к существу противоположного пола толкает человека на немыслимые по безрассудству и красоте поступки. Еще чудо, когда человек вдруг поступает вопреки собственной выгоде. Это называется «благородство». И вообще большое чудо, что человечество, невзирая на свою воинственность, безответственность и недальновидность, до сих пор живо. И даже численно растет — еще как.

Лет пятнадцать назад мы с Борей Гребенщиковым поехали в Непал. Я отправился туда впервые, а Боря бывал там часто и уже хорошо ориентировался, поэтому маршруты наши большей частью не пересекались с общетуристическими. Мы поселились в маленькой почти бесплатной монастырской гостинице, окна мои выходили на небольшую и совершенно круглую площадь. Посреди площади возвышалась ступа. Утром стоял густой туман, где-то пел невидимый колокольчик, и монахи в оранжевых одеждах неторопливо двигались вокруг ступы по часовой стрелке в сплошном хороводе, бормоча мантры. Худые бездомные собаки шествовали вместе с ними, сохраняя темп и направление движения. Выглядело это очень странно — и в то же время совершенно органично.

Мы забирались в горы, посещали тихие, невероятной красоты монастыри, слушали пение монахов, поднимались на ступы. Боря

беседовал с настоятелями — римпоче ламами, я ограничивался созерцанием, мне нечего было у них спросить. В буддизм я погружен не был и приехал не за знанием, а за впечатлением — увидеть, услышать, вдохнуть. Я чувствовал, что Боря (а еще больше его жена Ирина) хочет, чтобы душа моя, соприкоснувшись с аурой здешних святых мест, вздрогнула и просветлилась, но религиозный экстаз меня, увы, не посещал. Впрочем, художественного впечатления, как мне казалось, вполне хватало.

В один из последних дней путешествия по дороге в очередной монастырь Боря настоял, чтобы мы зашли в пещеру, где, по преданию, останавливался отдохнуть Будда. Святынь таких в округе располагалось множество, особого желания я не испытывал, но нам все равно было по дороге. К пещере вела довольно узкая горная тропка, да и сама пещера оказалась узкой, метра два-три, высокой и глубокой щелью в скале. Внутри горело несколько свечей — плошечек с фитилями, сидели, прислонившись спинами к стене, три бабушки с какими-то корзинами. Они негромко беседовали и не обратили на нас никакого внимания. В общем, все выглядело более чем буднично и никакими чудесами не пахло. Я по совету Бори присел на землю недалеко от бабушек, прислонился спиной к стене пещеры и закрыл глаза.

А дальше произошло вот что. Горячий электрический ток (или свет?) возник у меня в самом низу позвоночника, медленно поднялся, разгораясь, к голове, и в ней взорвался солнечный шар. Тело потеряло вес. Я открыл глаза. Слева совсем рядом от меня располагался выход из пещеры, далеко внизу до горизонта ступеньками лежали чайные поля, за ними синели горы, но я видел, что за этими горами высятся другие, а за ними еще, а потом долины, реки и леса, и все это покрывает голубой купол небес, и во всей этой картине мира было разлито такое море спокойствия и гармонии, и невиданного доселе света, что время остановилось, и я понял, что плачу.

Я не знаю, сколько это продолжалось. Думаю, недолго — несколько минут. Потом свет стал угасать и постепенно вернулся к обычному, дневному. Нет, что-то осталось — в воздухе, в спине, в голове? Я поднялся и вышел из пещеры. Наверно, по виду моему нетрудно было понять, что со мной произошло — Ирина просто молча обняла меня.

А потом я вернулся в Москву, и след того волшебного ощущения мгновенного полета над миром постепенно таял, таял, и за пару месяцев растаял совсем. Поведение мое за это время оставалось совершенно обычным, кроме, пожалуй, одной мелочи: я вдруг обнаружил, что совершенно не расстраиваюсь, если

проигрываю на бильярде, — а раньше переживал страшно. Теперь расстраиваюсь, как и прежде.

Хотя — если я до сих пор помню это посетившее меня чувство и даже пытаюсь об этом рассказать — может, не совсем все прошло? Может, что-то осталось?

ЕСТЬ КОГО ЛЮБИТЬ

Про любовь и влюбленность

Да, замахнулись на тему. Если следующей темой будет «Бог», я не удивлюсь. Совсем близко подобрались. Потому что сентенция «Бог есть любовь» мне очень близка. Я всегда поражался, с какой легкостью и бесстыдством мастера песенного жанра советских времен (да и нынешних) украшают свои тексты словом «любовь». Не упоминай имени Господа всуе. Я лично боялся к этому слову прикасаться, и в песнях «Машины времени» вы его вряд ли встретите — хотя половина наших песен именно про это.

Ну смотрите: Всевышний создал из хаоса гармонию. Он и есть сама гармония. И любовь — сама гармония. Не надо только путать любовь и влюбленность: несмотря на то что слова однокорневые, значение их чуть ли не противоположно. Влюбленность — чаще всего как раз дисгармония. Ибо влюбленность крайне редко бывает взаимной (Ромео и Джульетту выносим за скобки). Объекту влюбленности эта самая влюбленность либо льстит, либо вызывает раздражение. Второе значительно чаще. И если человек любящий (и, соответственно, любимый) душевно здоров, то влюбленный — тяжело болен. Эта болезнь то и дело толкает его на безумные поступки, не улучшающие его положения. Пораженный влюбленностью страдает, чахнет, теряет способность адекватно мыслить и радоваться жизни. Картина мира его искажена. У окружающих он обычно вызывает сочувствие, но ему от этого не легче. По счастью, болезнь эта крайне редко приводит к летальному исходу. Чаще всего проходит — внезапно и бесследно. Просыпаешься утром и думаешь — что это такое было?

Так что когда советский киногерой, стоя у плетня и тиская в руках папаху, говорит своему товарищу: «Люблю ее, Пашка. Люблю больше жизни. А открыться боюсь» — не любовь это, Пашка, не верь ему, дураку. Банальная влюбленность. Фитонциды, феромоны. Пройдет. Может быть, даже до конца фильма. Хотя…

А вот любовь — любовь всегда взаимна. Это, правда, не значит, что она не проходит. Тоже бывает. И тем не менее.

Причем совершенно не важно, любовь это к человеку, к животному, к предмету или к произведению искусства. Удивительно всеобъемлющее понятие — любовь. И законы ее едины.

Смогу ли перечислить всех и все, что я люблю? Нет, конечно. Но хотя бы попробую. На порядок не обращайте внимания, прошу

вас.

Итак. Я люблю: солнечную погоду. Весенний лес. Летний и осенний тоже люблю. Маму. Папу. Сестру. Своих детей. Друзей, а некоторых особенно. Подводный мир. Чистую прозрачную воду. Почти всех на свете животных. Женщин, а некоторых особенно. Настоящую музыку. Музыкальные инструменты — все на свете, а некоторые особенно. Очень люблю путешествия. Краски, холсты, кисти, карандаши, бумагу — все, из чего потом получается картина. Хорошее вино и простое, деревенское, и коллекционное, выдержанное. Водку под соленые рыжики и сало с луком. Еще люблю приготовить своими руками какую-нибудь проверенную столетиями еду, и чтобы друзья собрались за столом, выпивали, закусывали, говорили прекрасные слова и улыбались. Еще люблю Битлов, Роллингов, Рахманинова, Вертинского, Данелию, Шопена, Окуджаву, Галича, Высоцкого, Боттичелли, Модильяни, Аксенова, Бродского, Боба Фосса, Тарковского (особенно старшего), группу «Ундервуд», Эллу Фитцджеральд, «Лед Зеппелин», Рембрандта, Олега Янковского, Жоржа де Латура… Хватит?

Друзья мои. Любовь — это миллионы невидимых нитей, пронизывающих наш мир. Они пытаются удержать этот мир в состоянии гармонии — иногда из последних сил. И человек, который придет разрушить мир и разорвать эти нити, — этот человек никогда не знал, что такое любовь. И не узнает.

Что бы он вам ни плел. Увы.

Надежда

Раньше в таких ситуациях начинал с того, что лез в словари — чтобы определиться с понятием или не согласиться с определением. Ну-ка, быстро, с ходу — что такое надежда, а? То-то. А там люди думали, анализировали, копались в анналах.

Вот не полезу.

Замечу сразу — надежда иррациональна. Потому что если надежда опирается на информацию, которую ты вольно или невольно изучил, — это уже на надежда: это расчет. Прогноз. «Я тщательно обследовал остров, узником которого невольно оказался, и у меня появилась надежда…» Чушь собачья, какая же это надежда. Это логический вывод на основе полученных данных.

Ну-ка, что это за три сестры такие — Вера, Надежда, Любовь? Все три (не как сестры — как понятия) имеют самое непосредственное отношение к Богу. Любовь — это присутствие Бога в человеке. Ладно, мы сейчас не про любовь. Вера — во что? Во Всевышнего? Или в то, что Всевышний тебя никогда не оставит? Тогда это уже Надежда, правда?

Не очень я верю в историческую подлинность мифа о Вере, Надежде, Любви и матери их Софье. То есть в тот факт, что злой император Адриан насмерть замучил трех маленьких девочек (Вере — двенадцать, Надежде десять, Любови — вообще девять) за то, что они отказались поклониться римской богине Артемиде, а наоборот, упорно проповедовали христианство. И страстные проповеди в девять лет представляю с трудом, и самого Адриана в этой ситуации — вот уж делать ему, императору половины мира, больше нечего было. Нет же — пытал немыслимо, замучил и казнил. Но дело не в том, было или не было. В конце концов и религия, и культура, и история — все растет из мифов. Я вот о чем: вещая фраза «Надежда умирает последней» — это, как мы привыкли думать, о том, что надежда сильнее чем вера и любовь? Или мы слишком глубоко копаем, и это всего лишь констатация хронологии событий — сначала убили Веру и Лююбовь, а потом Надежду? А если бы, скажем, это произошло в другом порядке, говорили бы — «Вера умирает последней». Или — «Любовь умирает последней». Тоже красиво. И тоже поспорить трудно, правда? Искал-искал подтверждения (или опровержения) своей догадки — не удержался, полез все-таки в анналы — ничего не нашел. Не докопался.

Вот что я вам скажу. Надежда — это голос жизненной силы в человеке. Голос этот не имеет никакого отношения к разуму.

Поэтому надежда возникает независимо от обстоятельств. Поэтому и умирает последней — как ни банально это звучит. Одновременно с человеком.

И вот ты бултыхаешься и бултыхаешься, задыхаясь, в этом белом и жирном, и разум твой уже в который раз говорит тебе — хватит, остановись, это совершенно бесполезно, края скользкие и до них не дотянуться, и товарищей твоих уже не слышно — они достойно и смиренно ушли на дно, а ты все бьешься и бьешься, и это уже не второе — это какое-то двадцать второе дыхание, и откуда оно только взялось, и время давно остановилось, и вот еще один гребок, и еще один, а потом еще, и вот тебя оставили и силы, и разум — да ты уже и не живой, только крохотный огонек надежды все мигает и мигает на самой кромке твоего гаснущего мира — и вдруг твои ноги коснулись чего-то твердого: это сливки наконец превратились в масло.

О Балерине

Однажды, в старинные хипповые времена, одна дама вознамерилась погадать мне по китайской Книге Перемен. Я не люблю всякого рода гаданий, но отступать было некуда. Книга Перемен (Ай-Чинг), древнее сакральное произведение, была очень популярна в те годы среди прочей эзотерики. С ее помощью можно было вычислить все, касающееся твоей судьбы, а также твоих прошлых и будущих жизней. Если, конечно, уметь ею пользоваться. Йоко Оно, говорят, постоянно высчитывала, куда и когда Леннону ходить и куда не ходить. Это, его, правда, не спасло. И тем не менее.

В общем, я решил узнать, какова была моя прежняя жизнь. Девушка довольно долго вертела книгу туда-сюда, шевеля губами, и в конце концов сообщила, что, во-первых, нынешняя моя жизнь уже седьмая и скорее всего последняя, то есть душа уже набралась опыта и вернется на Землю вряд ли. А во-вторых, в прошлой жизни я был женщиной, являл собой особу при дворе короля, занимался искусством и дело происходило в Испании, кажется в XVI веке. Каким же видом искусства могла заниматься эта женщина? Конечно, танцами! В Испании-то. (Интересно, что именно профессию душа моя по наследству не получила. Этому сопутствовали еще два обстоятельства: во-первых, мы в молодости постоянно играли на танцах, и я все время видел, как танцевать не надо. Как надо, я не видел ни разу. Во-вторых, наш барабанщик Сережа Кавагое однажды сообщил мне, что все люди делятся на обычных и корявых, и я, без сомнения, отношусь ко второй категории. Это произвело сильное впечатление.)

Ребята, можете считать меня сексистом. Я часами могу смотреть, как работает Барышников. И тем не менее считаю, что сфера приложения труда у женщины по сравнению с мужчиной сильно ограничена. Это продиктовано самой природой или, если угодно, Всевышним, и нечего тут кричать о равноправии. Ну не люблю я шпалоукладчиц. И водительниц-дальнобойщиц. То есть так люблю, а кушать — нет.

Попробуем разобраться. Первая мысль — женщине неорганично заниматься чем-либо, связанным с тяжелым физическим трудом, — в корне неверна. Ибо балет — это в том числе адский физический труд, а что может быть органичнее балерины? Видимо, дело в другом — женщина, носитель Божественной красоты, лучше всего реализуется в профессии, которая заставляет эту красоту максимально раскрываться и работать. Танец, музыка, актерский труд. Очень потом — поэзия,

литература, живопись (это уже сублимация). Потом все остальное. Очень важная и незаменимая работа — мама. Людмила Прокофьевна в «Служебном романе» была мымрой. Боялись ее, не любили, хотя руководила отделом, видимо, хорошо. Потом приподнатужилась, обновила внешность и стала очень ничего себе. Это она не для работы — для Новосельцева. Отделом своим она после этого будет руководить лучше или хуже? Или вообще уйдет к чертовой матери? Кино на этот вопрос ответа не дает.

В конце одна тысяча девятьсот семьдесят девятого года (господи, как давно!) «Машина времени» получила статус профессионального ансамбля в стенах государственной концертной организации «Росконцерт», и нас выпустили на бескрайние просторы страны. На просторах тут и там располагались типовые дворцы спорта. Поскольку сольный концерт во дворце спорта, особенно для таких орлов, как мы, был вещью в те времена в принципе немыслимой, нам полагалась нагрузка — первое отделение. Состоять оно могло из чего угодно — эстрадный оркестр, певцы и певицы, пантомима, обязательный конферансье, шутки, репризы, смех. Нам невероятно повезло — к нам определили ансамбль эстрадного танца «Сувенир» под управлением Тамары Сергеевны Голованової.

До этого момента меня совершенно не интересовала хореография — ни классическая, ни современная: Битлы без подтанцовок выступали. К балету я был глубоко равнодушен — не мое, и все. Ансамблей эстрадного танца (эстрадного, а не народного, заметьте — народных было как грязи) на тот год существовало, по-моему, два — «Сувенир» и «Ритмы планеты» Санкина. И было это по тем временам весьма новомодной штукой.

Я не знаю, что со мной произошло. Мы с «Сувениром» работали по два концерта в день (в выходные — иногда по три) и я, вместо того чтобы отдыхать, ходил смотреть их первое отделение — бесчисленное количество раз. Я знал его наизусть. Если это и было окрашено какими-то личными переживаниями (мы все тогда повлюблялись друг в друга), то лишь очень отчасти. Я был совершенно заворожен гармонией, возникавшей из звуков музыки и пластики женского тела (ребята там тоже здорово работали, но при чем тут это?). Я вдруг увидел, что танец — одно из божественных предназначений женщины.

Я слышал мнение, что профессиональное занятие танцем уродует фигуру женщины. Сами вы уроды. Профессиональное занятие танцем доводит ее до совершенства. Как вы полагаете, господа, что в этой самой фигуре женщины самое главное — если

так вообще можно ставить вопрос? Ноги? Задница? Талия? Грудь? Вы ошибаетесь, господа, поверьте мне. Вышеперечисленные детали, конечно, имеют значение, но красота женщины спрятана в ее шее — насколько она длинна, как посажена на ней голова. В этом залог осанки, а в осанке читается отношение к миру. Так что женщина с божественными формами, ангельским лицом, но с короткой шеей — досадное недоразумение, не более того. И ее никогда не возьмут в танцовщицы. Балерина может отдыхать, согнувшись в три погибели и развернув ступни под сто двадцать градусов в немыслимую позицию — и она все равно божественна.

Сувенировцы пахали, как звери. Мы все тогда пахали, как звери, но нам все-таки было легче. Представьте себе: после двух концертов мы все вместе собирались в гостиничном номере, варили супчик из пакетных концентратов (это называлось «суп-письмо», буфет в гостинице закрывался как раз к нашему возвращению), пили водку, травили байки из рок-н-ролльной и танцевальной жизни и хохотали как безумные. Часа в четыре утра мы расползались по номерам, совершенно счастливые, и вот тут «Машина времени» могла себе позволить забыться сном. А бойцов «Сувенира» Тамара Сергеевна Голованова в восемь утра строила на балетный класс — чтобы служба медом не казалась. Знаете, что такое балетный класс? А дальше — опять два концерта и опять посиделки до утра — гастроли в среднем городе тогда длились неделю-полторы. В Питере — три.

И ребята, и девчонки из «Сувенира» очень любили свою работу — как бы ни ругали ее. И они потрясающе работали — абы кого в команде не держали.

Песенка «Заполнен зал, в котором было пусто…» — это про них.

А с Майей Михайловной Плисецкой я и знаком-то не был и ни разу не встречался — откуда?

О постели

Давным-давно кто-то вычислил, что примерно треть жизни человек проводит во сне. То есть в постели. Я знаю людей, проводящих там гораздо большую часть своей жизни, но вернемся к средним величинам. Итак: треть жизни — это двадцать с чем-то лет. А ведь ни за каким другим занятием, ни с каким приспособлением этот самый человек столько времени не проводит — ни за обеденным, ни за праздничным, ни за рабочим столом, ни за рулем, ни с музыкальным инструментом, ни с лопатой. В постели. Забавно, правда?

Когда я был еще относительно молод и романтичен, и мы с «Машиной» постоянно мотались с гастролями из города в город, из гостиницы в гостиницу, я с восхищением думал — сколько же всего помнят гостиничные кровати! Сколько тайн они хранят! А сейчас понимаю — ни черта они не помнят, да и тайн-то никаких нет — одни и те же, в общем, телодвижения, пьяный лепет. Или одинокая свинцовая усталость. Тоже не без запаха перегара. Вот и все тайны.

Впрочем, гостиницы я люблю до сих пор, как и гостиничные постели (как же они изменились с советских времен — и те и другие!). Нет, они все-таки насмотрелись. Мне нравится их молчаливое никчемное знание. Я гораздо лучше высыпаюсь в гостиничной кровати, чем дома. Хотя казалось бы — уж дома-то сооруди себе постель какую только хочешь, не жалей денег на предмет номер один! Нет, не в деньгах дело. Просто с гостиничной постелью ты не настолько близок, чтобы она без спросу вступала с тобой в диалоги — ничего личного, приехал — уехал. А домашняя, видимо, в той же степени считает тебя своей собственностью, в какой считаешь ты ее, да и помнит она меньше, следовательно лучше, и лезет со своими воспоминаниями когда ты меньше всего этого хочешь. А еще — я ненавижу убирать постель. Какие-то маленькие похороны неизвестно чего. А в гостинице разметал одеяла и подушки, а еще и полотенец на пол набросал — для красоты жизни. Ушел, вернулся к ночи — все свежее, все на местах. Спи с чистого листа.

Представим себе историю человеческой жизни как историю постелей этого человека. В таком, скажем, ракурсе. Я, например, не смог вспомнить свою первую кровать — хотя память моя проснулась очень рано — мне не было еще и года, и коляску свою я помню, например, очень хорошо — с белым откидным клеенчатым верхом на хромированной рамке, с небесно-голубыми овальными пластмассовыми боковинами. Подо мной между

высокими колесами на белом резиновом ходу была натянута сетка — чтобы класть туда всякую всячину, граждане тогда без хозяйственных сумок и авосек в город не выходили, время такое было. Еще авоську можно было повесить на боковой (хромированный же!) крючочек — их было два, они располагались там, где рамка откидной крыши моего кабриолета крепилась к корпусу. В общем, крутая у меня была по тем временам коляска. Она же и служила мне первой постелью, как я выяснил с помощью своей тети Гали (дай ей Бог здоровья), потому что потом прямо из коляски я перебрался в тети-Галину кровать — она уже была не детская, а вполне себе подростковая — тетя Галя к этому моменту давно из нее выросла и спала тут же на раскладушке, а кровать не выбрасывали, держали мне на вырост. Прямо за моей головой стояла настоящая низкая и очень широкая (как мне тогда казалось) двуспальная кровать — там спали папа и мама. Происходило это все в одной весьма небольшой комнате коммунальной квартиры (хотите посмотреть? Угол Волхонки и Колымажного, Музей Изобразительных Искусств, желтый двухэтажный домик «Собрание частных коллекций», угловой полукруглый выступ с окошечком — вот это как раз окошечко нашей спальни. Внутри, правда, уже ничего общего — все поломали к чертовой матери).

Кровать была для меня необыкновенно просторна — и вширь, и вдаль. Первые годы левый борт ее затягивали сеткой — чтобы я с нее не гукался. Борт правый примыкал к стене. Во всю эту стену папа соорудил книжные полки — до потолка. Папа строил полки сам, я помню мерзкий запах морилки. Мама очень боялась, что полки не выдержат веса книг и эти книги меня накроют. Но этого так и не произошло. Скоро, встав в кровати на цыпочки, я мог дотянуться до нижней полки — с учетом этого там и стояли мои книжки — Чуковский, «Чудо-дерево», рисунки Конашевича, «Приключения Буратино», рисунки Каневского, «Дядя Степа — милиционер» Сергея Михалкова, «Руслан и Людмила» (большая, цветные картинки, не помню чьи — чуть не Билибина), «Приключения Чиполлино» (большая, темно-синяя), «Джельсомино в стране лжецов», «Приключения Незнайки и его друзей» Носова, серый двухтомник Агнии Барто, чуть позже — двенадцать томов Жюля Верна. Они были коленкоровые, цвета военного корабля, на тисненом корешке синяя полосочка и на ней золотом — «Жюль Верн». Я обожал их нюхать. До второй полки я не допрыгивал, как меня ни подбрасывало панцирное нутро кровати, — а там располагались великолепные фолианты — «История гражданской войны», «Польский плакат», «История искусств» Гнедича, «Старинная русская икона» издательства

ЮНЕСКО… Папины книги. Их можно было рассматривать только с ним. Однако мы отвлеклись.

Панцирная сетка — это хитрое переплетение стальных пружин внутри чугунной рамы. Рама синего цвета. Конструкция довольно упругая — раскачаться в ней можно было ого-го как. При этом она издавала дивные звуки. На поролоновом матрасе так хрен раскачаешься. А поверх пружинного плетения лежал обыкновенный советско-солдатский ватный матрасик (помните детскую загадку тех лет — «уссатый-полосатый»?). Действительно, бледно-голубые полосы украшали его вдоль. Простеган матрас был серыми ватными пумпочками и в целом являл собой амортизатор между бешенством стальных пружин и моим хлипким телом — а был я и вправду хлипок до чрезвычайности и кровать-то помню так близко из-за того, что все время в ней болел. А когда валяешься в кровати и делать абсолютно нечего — лучше всего запоминаешь ее спинку: нарисовать могу хоть сейчас, а словами описать непросто — в общем, весьма торжественная конструкция из хромированных и крашеных под рыжий мрамор (представляете себе?) стальных трубок и деталей. С двумя хромированными обязательными шарами по верхним углам. И за моей головой — точно такая же! Горделивая вещь, привет неоклассицизму.

Одеяло у меня было страшно колючее, в тревожных красно-белых разводах, изображавших каких-то жутких белок на ветвях, и когда оно вырывалось из пододеяльника в ночи — возникало ощущение, что ты укрыт наждаком.

Спал я в этом чуде довольно долго — до третьего класса. Помню, в конце нашей совместной жизни моя кровать уже совсем не казалось мне просторной. И мы переехали в отдельную квартиру — на Комсомольский проспект.

Я получил (невероятно!) почти отдельную комнату. Почти — потому что у окна стоял папин рабочий стол с большой чертежной доской — папа за ним работал и рисовал. Скоро стол у нас стал общим. Новая же кровать моя являла собой модный по тем временам диванчик с прямоугольным поролоновым местом для сидения и лежания и двумя прямоугольными же подушками, образующими спинку. Так как в длину диванчик был невелик, для полноценного превращения его в кровать из торца выдвигалась полочка-продолжение, и на нее укладывалась одна из подушек. При этом выдвинутая полочка перекрывала собой часть двери в мою комнату, и комната становилась недоступна снаружи. Преимущество этого факта я оценил чуть позже. А еще позже, когда вдруг оказалось, что диванчик может служить не только для спанья в одиночку, это его качество сделалось просто

незаменимым, и мама безуспешно пыталась заглянуть в дверную щелочку, чтобы увидеть, кто это там у меня в гостях — ширина щелочки этого просто элементарно не позволяла. В конце концов мама, оставив на столе в кухне разгромную записку, убегала на работу, и я выпускал узницу из плена.

А потом я женился, и мы переехали с женой в маленькую, но свою квартиру на Ленинский проспект (вот это было да!). Я к этому моменту уже неплохо зарабатывал как артист Росконцерта, и по этому случаю была самостоятельно куплена настоящая взрослая двуспальная — пусть не самая широкая в мире, но двуспальная — кровать венгерского производства. Это были принципиально новые отношения с жизнью. Как же это было замечательно! Какое-то время.

Почему все кончается?

Потом были другие жены, другие кровати, другие дома…

Сейчас на женской половине моей кровати лежит гитара и постоянно раскрытый гастрольный чемоданчик. Они всегда наготове. А кровать — кровать меня терпит. Так мне кажется.

Интересно: «умер в своей постели» — это хорошо?

О страсти

Необъяснима и загадочна природа страсти. Страсть — соединение божественного и земного, даже животного. Божественная составляющая необъяснима, как необъяснимо божественное вообще, а животная — да много ли мы на самом деле знаем о животных? Или человека создал Бог, а животных — Дарвин? Проявляется страсть в разных родах человеческой деятельности, но все это — сублимация той самой, основной страсти, и давайте не будем себя обманывать.

Готов рассуждать о проявлениях страсти мужской, так как при всем богатстве воображения не могу ощутить себя в теле женщины. Соответственно оказаться внутри ее головы. К тому же в устройстве органов, имеющих к страсти самое непосредственное отношение, обнаруживается принципиальное различие, и оно не только в строении — оно в возможностях. Совсем грубо говоря, мужчина не сможет овладеть женщиной, к которой он не испытывает страсти, как бы этого не требовали обстоятельства — этот самый его орган откажется участвовать в процессе: он сам решает, к кому испытывать страсть. Женщина же (вы уж меня простите) может теоретически осчастливить в течение ночи трех мужчин да еще каждому внушить, что именно он лучший на свете. И ведь верили!

По большому счету страсть питается собственной неудовлетворенностью. И препятствиями, неизбежно возникающими на пути ее удовлетворения. Страсть удовлетворенная перестает быть страстью по определению. Финал, музыка, титры. Я видел внезапные вспышки взаимной страсти (редко, но бывает). В этом случае (если сюжет писал не Шекспир, плюс она не замужем, он не женат и живут они в не враждующих странах) препятствий на пути значительно меньше. И вот они преодолены, и влюбленные бросаются в объятья друг друга. Иногда (тоже достаточно редко) из этого получается образцовая семья, и живут они долго и счастливо — но причем тут страсть?

А в девяноста девяти случаях страсть, увы, односторонняя — и опять же могу говорить только о мужчинах, хотя доводилось наблюдать проявления односторонней женской страсти в воспаленном состоянии — было это непредсказуемо и ужасно.

Итак, мужчина охвачен страстью. Заболевание это возникает внезапно и, как правило, сразу в самой острой стадии — вчера был здоров, а сегодня уже практически безнадежен. Объект же его страсти испытывает к нему равнодушие, пусть и окрашенное

легким дружеским позитивом. Что делает в этой ситуации, скажем так, нестандартная женщина? Она мягко пытается объяснить больному, что не готова разделить с ним его порыв. В общем, не любит она его. Кушать любит, а так — нет. Разумеется, мужчина в состоянии измененного сознания ей не поверит. Он сейчас ничему не верит и целиком сосредоточен на собственном внутреннем пожаре. Что сделает женщина нормальная, коих большинство? В ней сработает древний инстинкт. Начнется игра «Рыбак и рыбка», только рыбаком будет она. Знаете, в какие моменты рыбак испытывает наибольший кайф? В момент вываживания рыбы. Добыча уже на крючке, но еще не в руках — длинная и тонкая леска может порваться, и вообще здесь необходимо хладнокровие в сочетании с опытом. Пойманную рыбу, кстати, измученную и обессиленную, по нынешним правилам следует отпустить. Поцеловав на прощанье.

Но вот — передержали. Или просто прошло какое-то время. Времени свойственно проходить. И мужчина изумленно глядит на объект, являвший причину его вчерашнего безумия, и не может понять — что это было? Вот тут рыбак, чувствуя, что рыба уходит, делает движение вслед. Нет, никто не за кем не бросается — достаточно неожиданного телефонного звонка или даже просто особенного взгляда. Ваши варианты? Некоторые разворачиваются и летят навстречу, очертя голову — вдруг болезнь еще не совсем прошла? Да нет, прошла окончательно и рецидивов не будет. Возвращаться на место, где вчера полыхал костер страсти, пытаться раздуть остывшие головешки — бессмысленно. И не верьте переменам, в ней якобы произошедшим, — это сработал инстинкт собственника: добыча уходит! А как было приятно водить на леске!

Есть мужчины самолюбивые и мстительные — они попытаются оттоптаться на предмете вчерашнего своего обожания за все унижения, ими испытанные. Не стоит этого делать. Это непродуктивно и просто некрасиво. Постарайтесь остаться друзьями — вам сейчас лучше, чем ей. Потому что теперь она нет-нет да и подумает — а не дура ли была?

А вы — вы вновь совершенно здоровы. И в грядущей жизни вам предстоит пережить это состояние еще несколько раз, вы уж мне поверьте.

Ведь вы так молоды!

ОПЯТЬ О ЕДЕ

Опять о еде

Правда, не знаю, как это вышло. Вообще, я считал, что мои взаимоотношения с едой и ее приготовлением уже много лет носят совершенно личный характер. Ну сколько можно, право. Каждый телеканал сегодня учит нас, как выбирать продукты, готовить их и есть что получилось. Программу «Смак» уже много лет блистательно ведет Ваня Ургант — спасибо ему. И вообще, я не настоящий сварщик — я интуитивный художник-примитивист. И если мы сойдемся в утверждении, что приготовление еды — это искусство, то ничему я вас не научил и не научу: нельзя научить делать искусство. Можно, правда, привить к нему интерес. Само же искусство — мистика. Одна из моих бывших жен страшно переживала из-за того, что у нее не выходило пожарить кусок мяса так, чтоб получилось как у меня. Я тоже переживал — за нее: вроде бы пустяковое дело. И вот однажды я вознамерился исправить эту несправедливость. Мы встали к одной плите, взяли две одинаковые сковородки, два одинаковых стейка, зажгли одинаковый огонь и дальше она секунда в секунду повторяла все мои действия. У меня получилось, у нее нет. Вот как это? Слезы, развод, девичья фамилия.

А ведь если приготовление пищи — это искусство, то это самое древнее и при этом самое консервативное из искусств. Все прочие направления и жанры менялись от века к веку — иногда до неузнаваемости, до полной противоположности. С едой, конечно, тоже что-то происходило — вряд ли мы оценили бы сейчас главный древнеримский деликатес — соус из мелкой рыбешки, перебродившей с солью в каменной ванне на жаре (хотя удивительным образом русское северное блюдо «кислая рыба» с этим ужасом пересекается почти вплотную), да и сегодня нет-нет и наткнешься на очередную попытку оказаться умнее вечности — какая-нибудь молекулярная кухня по тыще рублей за плевок, — но это быстро проходит. Как «актуальное искусство». Пройдет, поверьте. Все равно были, есть и будут вечные базовые вещи — огонь, вода, мука, мясо, овощи, фрукты. И на мой взгляд, самые древние блюда продолжают оставаться самыми вкусными и много тысяч лет присутствуют во всех кухнях мира. Ну у какого народа, например, в ассортименте нет своей разновидности пельменей? Разница только в размерах и начинке. Нет, правда, только подумайте — шли века за веками, воевали страны, рушились династии, Пушкина пытались сбросить с корабля современности, «Мадонна» превращалась в «Черный квадрат», а мяса на углях никто не отменял. Кишка тонка — в прямом смысле.

А еще еда — это не просто пожрать — это ритуал. Общение. Праздник. Прием гостей. Поэтому ее старались сделать изысканной. Исключения крайне редки. Недавно мы путешествовали с друзьями по Монголии, и я удивился примитивности местной кухни. В общем, это была баранина. Либо просто вареная, либо запеченная на костре целой тушей, причем брюхо набивали раскаленными камнями из этого же костра. В исключительном случае ту же баранину жарили на воинском щите. Какие-либо специи отсутствовали как класс. Думаю, точно так же готовили пойманную добычу на заре человечества. Нет, это было вкусно — я вообще люблю простые вещи, — но полное отсутствие вариантов несколько удручало. На пятый день я не выдержал и обратился к проводнику — почему так? Ведь совсем рядом Китай — страна великой и разнообразнейшей кухни. Проводник ответил: в Монголии еда никогда не была социальным актом — выполняла чисто физиологическую функцию. Искусство не получило развития.

И вот еще интересно — почему никто не видел женщину-шеф-повара ресторана? Посмотрите: королевы и министры есть, звезды балета, театра и кино есть, художницы и писательницы есть. Есть замечательные руководители клиник и научных учреждений. Поварихи есть. А шеф-поваров нет. А шеф-повар и повар — это примерно как режиссер и режиссер-постановщик, для тех кто понимает разницу. Как так получается? А знаете, сколько сегодня стоит шеф-повар в хорошем ресторане?

В общем, много, много вопросов.

Я представляю себе огромную и интереснейшую книгу — историю кухни, нанизанную на историю человечества. (С историей человечества, правда, тоже много вопросов, но есть же описанные современниками праздничные столы Древнего Рима, есть обеды Людовиков, есть «Большой кулинарный словарь» Дюма, есть Гоголь, Чехов, «Советы молодым хозяйкам» Елены Молоховец и «Книга о вкусной и здоровой пище» с цитатами Сталина и Микояна. Да еще много всего — если порыться. Никто не написал?)

Так вот. С учетом, как говорится, вышеизложенного я возвращаюсь к этой теме. Имейте только в виду — я не историк, не шеф мишленовского ресторана и не Онищенко. Я просто дилетант, которому интересно. Надеюсь, я в этом не одинок.

Про картошку

Вы будете смеяться — я про картошку. Ну казалось бы — чего мы еще про нее не знаем? Картошка — наше все! Когда с сольцой ее намять…

И тем не менее.

Еще совсем недавно (по историческим меркам) — лет 300 назад — о картошке у нас и не слыхали. Функцию ее выполняли брюква и репа. Если тушить что-нибудь такое в горшке — хорошо. А вот поджарить с хрустящей корочкой — никак. Впрочем, в те времена особо ничего и не жарили — тушили и запекали в русской печи.

Родина картошки — Южная Америка: Чили, Перу, Бразилия. В Боливии инки растили картофель в горах на искусственных террасах. Там мне показали интересную штуку — больше всего это напоминало обточенную морем гальку: камушки были черно-серые и ослепительно белые. На вес эти камушки оказались неожиданно легкими — как пемза. Оказалось, это сушеный картофель. Процесс долог и непрост: черную картошку сушили на солнце, периодически подмораживая (благо перепад температур в горах очень серьезный). Что касается белой — ее сначала морозили, потом очищали от кожуры (шлифуя при помощи пальцев ног!), потом погружали в холодную воду аж на двадцать с лишним дней и только потом сушили на солнце. Такая картошка может храниться десятилетиями (говорят, и столетиями.) От себя добавлю: пробовал. Чудовищно невкусно. Но когда речь идет о выживании — выбирать не приходится: урожай собирают раз в году, а год может случиться и неурожайным. Вообще у инков еда была не удовольствием, а именно средством поддержания жизни, но это тема для отдельного разговора.

В XVI веке испанцы привезли картошку в Европу, и она там очень быстро прижилась — неприхотливая, сытная, дающая обильный урожай. Скоро она стала в некоторых странах (в Ирландии, например) основным продуктом питания. Недавно в Швейцарии я посетовал на то, что местная кухня хороша, но слегка однообразна — в основном тушеное мясо с картошкой. Мне несколько снисходительно объяснили, что у них культивируют около сорока сортов картофеля, для каждого блюда — свой сорт, и чтобы в этом разбираться, надо у них немного пожить. А лучше родиться.

Петр Первый, впечатленный неизвестным продуктом, привез к нам картошку из Голландии. Продукт не пошел: народ не знал, что с ним делать и вообще не испытывал доверия к заморскому.

Были случаи отравления, и картошку даже прозвали «чертовым яблоком». Подозреваю, пытались есть сырой (хотя у корейцев есть салат из нарезанной соломкой сырой картошки — ничего, никто не умер). Известно, что для популяризации продукта Петр даже использовал хитрость (чисто национальный прием!): к засеянному картошкой полю выставлялась охрана, которую на ночь демонстративно снимали. Подействовало: картошку стали подворовывать, сажать у себя на огородах. И все же окончательно она прижилась почти через полвека, уже при Екатерине, во время голода 1760-х. Считай, вчера.

Сегодня картошка — национальный продукт, количество блюд из нее не поддается исчислению, и специалистов хоть пруд пруди. Так что не стану утомлять вас очевидным — ограничусь несколькими замечаниями и советами. В процессе безуспешной борьбы за стройность фигуры картошка попала под раздачу: ее объявили чуть ли не главным врагом. Вредность картошки сильно преувеличена: крахмал — не цианистый калий, а если хотите уменьшить его количество — подержите почищенную и порезанную перед готовкой картошку некоторое время в холодной воде. И, конечно, не надо ею злоупотреблять, и количество масла не должно превышать количества картофеля. Обжираться вообще не следует.

Картошка, как ни странно, очень тонкий продукт. Пожаренная кубиками, соломкой или лепесточками — три совершенно разных блюда. Я уж не говорю о сочетаниях подсолнечного и сливочного масла. О наличии или отсутствии жареного лука (лук рекомендую всегда жарить отдельно и добавлять в конце — он жарится быстрее картошки и на одной с ней сковороде сгорит). Поэкспериментируйте с нарезкой, не ленитесь.

Оказывается, классический картофель фри (то есть по-нашему френчфрайз) получается только из предварительно замороженной картошки. Не знал.

В далекой деревне Кимжа (Архангельская область, Мезенский уезд) меня кормили вкуснейшей вещью — вареная картошка разминается с солеными грибами (рядовками) из бочки. Там такое едят всю зиму.

Совершенно гениальная штука — ройка (это из Беларуси): сырая картошка, сало и лук в равных количествах перемешиваются, набиваются в свиную (или баранью — какая будет) кишку, и эти колбаски жарятся в печи, духовке или на гриле. Оторваться невозможно.

Пюре — отдельная поэма. Талантливо приготовленное пюре (скажем, в сочетании с домашней котлеткой и хрустящим

соленым огурчиком) может вызвать состояние, близкое к нирване. У каждого автора свои секреты: использовать молоко или сливки, добавлять ли воду, в которой варилась картошка, сколько и когда добавлять сливочного масла. А яичный желток — класть, нет? А капельку, например, масла трюфельного? А чуть-чуть укропу? А как взбивать? Ищите, ищите. Все вам расскажи.

А ведь еще есть драники, картофельные оладьи (не одно и то же), котлеты (совсем не одно и то же), запеканки, вареники, пироги.

Или вот что: помойте картошку, порежьте каждую пополам (чистить не надо), смажьте поверхность подсолнечным маслом, посолите крупной солью, уложите на противень смазанной стороной вверх и запеките. В майонез выдавите пару зубчиков чеснока и мелко порежьте немного укропа. Подать отдельно. В годы нашей юности это называлось «Тоска по Родине». Водка в холодильнике.

Мясо

Мой сын Иван — убежденный вегетарианец. Уже лет двенадцать как. Увидел случайно какую-то документалку про чикагскую скотобойню, и все. Заодно и от рыбы отказался — у нее тоже глаза грустные. Перешел на ботву. Выглядит по-прежнему прекрасно. Я не сторонник жестокости, но еще больший противник ханжества. В конце концов, ученые доказали, что листикам тоже больно, когда их едят, и они даже по-своему испытывают ужас. Мне не удалось его переубедить.

Американский ученый Питео Д'Адамо считает, что приоритетное питание напрямую связано с группой крови человека. Первая группа (он считает ее самой древней)— «охотники». Это люди прежде всего мясные и рыбные, хлеб, молоко и молочные продукты для них вредны. Нет, никто не умрет, просто обмен веществ может нарушиться, иммунитет ослабнет.

Вторая группа крови — «земледельцы» — расположены к вегетарианскому питанию. У них более чувствительный пищеварительный тракт, мясо у них будет большей частью перерабатываться в жир, так что белки им лучше восполнять фасолью, соей.

Третья группа — «кочевники». Это люди практически всеядные — мясо, рыба, молочные продукты, овес, рис, капуста, зеленые овощи. Хлеб, курица, кукуруза менее рекомендуемы.

И, наконец, четвертая группа — так называемые «новые люди». Иммунная система у них наиболее слабая: им можно в принципе всего понемножку, и тем не менее лучше избегать утку, лососевых, цельное молоко (молочные продукты — пожалуйста), бобы, гречку, авокадо, бананы, гранаты.

Не знаю. У меня третья группа группа крови (интересно, какая у сына). Вообще все очень индивидуально.

Наверно, я бы не умер без мяса. Определенно не умер бы. И может быть, даже очень хорошо выглядел. Но одной из земных радостей был бы лишен, это точно.

Может быть, потому, что мясо пробуждает в нашей генной памяти ощущение праздника. Ну не каждый день убивали наши предки мамонта или древнего бизона — и это был праздник для всего племени. В остальное время — с корешков на ягодки. И никакого праздника. В годы молодые я, подталкиваемый убожеством выбора в советских гастрономах, кидался в экзотику: коллекционировал специи (что можно было достать), изучал секреты китайской кухни. Основная задача состояла в том, чтобы

превратить истощенную социализмом синюю курицу в кулинарное чудо. С тех давних лет палитра исходных продуктов сильно выросла (нет, не помните вы советские гастрономы!), а интерес к экзотике ослаб. Вот тебе мясо, вот огонь — твори!

Что делать, чтобы мясо на мангале оставалось мягким и сочным?

Способов множество. Но прежде всего — выбор самого мяса. Например, вырезку сделать жесткой крайне сложно — для этого придется засушить ее до состояния сухаря. Но как минимум надо знать, как вырезка выглядит (бабушка одного моего товарища говорила — «Я вам этой вырезки целую ногу принесу»). А вырезка — это две сравнительно небольшие полоски мяса, идущие у животного вдоль позвоночника. У коровы это 2–3 килограмма, у барашка и свиньи совсем маленькие. При жизни на эти мышцы не приходится нагрузки, и мясо это очень нежное. Из него готовят филе-миньон. Очень хорош шашлык из вырезки, если порезать ее крупно и часа на два-три замариновать в сметане с мелко порубленным луком и травами. Про уксус забудьте изначально. Вообще применительно к маринованию мяса. Если уж вам так неймется — замените его лимоном. Вино тоже не советую. А вот сильногазированная вода творит с бараниной чудеса — углекислый газ отлично ее размягчает. То же самое делают кисломолочные продукты. Если речь идет о цыплятах или бараньей корейке — я смазываю их смесью оливкового и орехового масла и посыпаю специями за час-два до готовки. Постарайтесь, чтобы аромат специй не превалировал над естественным вкусом мяса — это дурной тон.

Барашек любит зиру, кориандр и красный перец, цыпленок — чеснок и имбирь. Не воспринимайте это как догму — ищите свои сочетания. Имейте только в виду, что солить все эти блюда следует непосредственно перед жаркой — никогда не кладите соль в маринад. Пару лет назад купил тандыр и не нарадуюсь — мясо в нем готовится в два раза быстрее, чем на мангале и пропекается куда равномернее, а цыплята-корнишоны за 15 минут превращаются в совершенные бисквиты. Свинка — вообще благодарное мясо для шашлыка: оно в меру жирное (если брать оттуда откуда надо) и изначально мягче баранины. Главное, чтобы свинка была молодая, а не умершая своей смертью бабушка. Боюсь, я не сумею вас научить на этой странице, как выбирать мясо для мангала — тут и знание анатомии, и опыт, и интуиция. Я просто смотрю на мясо и понимаю — вот из этого получится отличный шашлык. А это лучше в суп.

В заключение — вот вам один из моих любимых рецептов. Это древнейшее праздничное блюдо (интересно — и грузинское,

и еврейское) и приготовить его ничего не стоит. Возьмите лопатку быка (можно и коровы, но бык вкуснее). Ни в коем случае не телятину — здесь нужно взрослое темное волокнистое мясо с изрядными прожилками жира и хрящей. Нет лопатки — возьмите шею. Варите его в воде не добавляя НИЧЕГО около четырех часов. Когда убедитесь, что оно начинает разваливаться — выкладывайте на блюдо большими кусками, посыпайте крупной солью и рубленой зеленью с чесноком. Несите к столу. И ешьте руками, обжигаясь и радуясь. Красное вино, водка. Праздник.

Немного о борще

Давайте-ка я вам расскажу про борщ — как я его понимаю. Никак не могу поставить борщ в один ряд с прочими супами — настолько это древнее и даже отчасти сакральное блюдо. Представляете — борщ и, скажем, куриная лапша? А в ресторанных меню они расположены на одной странице. Кстати, можете, конечно, заказать в ресторане борщ — только имейте в виду, что с настоящим борщом этот супчик связывает только название: ресторанная технология приготовления блюд, основанная на соединении заранее доведенных до полуготовности компонентов, не позволяет создать настоящий борщ — ибо это пять часов непрерывного труда. Ждать будете? (В советские времена иногда для скрашивания разницы использовалось название «борщок» — нечто, приготовленное индивидуально в небольшой посуде: звучит как-то фамильярно-унизительно.)

Нет, друзья мои, — есть блюда, которые в малых объемах просто не готовят. Потому что не получится. Попробуйте сделать плов в кастрюльке для варки яиц. Впрочем, лучше не пробуйте. Я беру для борща шестилитровую посудину — как минимум. Десятилитровая лучше. Во-первых, это красиво. Во-вторых, борщ у меня — праздничная, общественная еда, и либо я подгадываю его под гостей, либо довожу борщ до ума, а потом лихорадочно соображаю, кого бы позвать. Иногда друзья оказываются в разъездах. Тогда я ставлю эту бадью в холодильник и ем его сам. С наслаждением. Неделю. Утром, днем и вечером. Не надоедает.

Предупреждаю еще раз — это мое глубоко индивидуальное виденье борща. И на объективность я не претендую. Двух одинаковых борщей не существует, у каждого создателя свой рецепт и свои секреты, и всяк кулик будет свое болото хвалить. Да на здоровье.

Даже исходя из основы — кроме наличия свеклы (которую увы, не все могут сохранить в процессе готовки ярко-красной) и капусты — эти борщи ничего объединять не будет. Варят на свинине (да еще с добавлением старого сала — это по-украински), на говядине, на курице, на утке. Варят вообще без мяса — тоже, между прочим, борщ.

Итак. Я иду на рынок — сперва по мясным рядам. Нам нужна говядина (не телятина — навару не будет!), и лучше бычок. Грудинка — с достаточным количеством хрящей. Иногда я добавляю отрубленную поперек часть голяшки — если в середине наблюдается широкая мозговая кость. Отлично подходят бычьи

хвосты, но они не всегда бывают. Мяса в борще должно быть много. В борще всего должно быть много — после моего борща мысль о втором блюде в голову как-то не идет. Когда вопрос с мясом решен, я выбираю овощи. Свеклу я беру немолодую (молодая хороша в холодном свекольнике и ботвинье) и не безумно крупную. А вот кочан капусты желательно молодой и небольшой, но плотный. Дальше набирается любая овощь — что глаз порадует: брокколи, маленькая стручковая фасоль (еще будет нужна фасоль консервированная), болгарский перец, сельдерей (стебли), лук, морковь, чеснок, много зелени. Вот картошку я в борщ не употребляю — извините. Не звучит она в борще. Еще нам понадобятся оливки, каперсы, лимон (или два), специи, вустерширский соус, томатная паста.

Мясо мы просто варим в воде часа 3–3,5 — это зависит от возраста бычка и от того, насколько тяжелую он прожил жизнь. Раньше я клал на этой стадии в бульон французский букет, но потом понял, что это совершенно не обязательно: на финишной прямой зелень, лимон и чеснок сделают свое дело. Чтобы бульон оставался прозрачным (а тогда и борщ сохранит прозрачность при всей густоте красного цвета), после того как он закипел нужно снять пену и тут же убавить огонь до минимума — бульон не должен бурлить. Пусть еле шевелится. Тем временем режем овощи. Я не мучаюсь напрасно и использую блендер: лук — тонкими кружочками, морковь и свеклу — соломкой, капусту — соломкой. Мясо можно считать готовым, когда при попытке поднять кусок вилкой этот кусок готов развалиться. Берем глубокую сковородку. Немного подсолнечного масла. Когда оно нагрелось, я сыплю туда специи — красный перец, зиру и кориандр, можно хмели-сунели или что вы любите — пусть чуть-чуть обжарятся (в бульон в этот момент можно положить черный и душистый перец-горошек, лавровый лист). Теперь засыпаем на сковородку лук и морковь, обжариваем, перемешивая, на довольно большом огне. Это займет минут пять. Отправляем в кастрюлю. Опять немного масла на сковородку, выкладываем туда свеклу, заливаем томатной пастой и — внимание! — довольно щедро сбрызгиваем простым советским девятипроцентным столовым уксусом. Иначе свекла потеряет цвет и картина не заиграет красками. Иногда к томатной пасте я добавляю немного кетчупа — особенно когда ее не хватило. Все время перемешиваем, огонь убавляем. Через некоторое время свекла начнет пыхать редкими ленивыми пузырями. Очень хорошо, пусть попыхает еще минут 5–10. В кастрюлю.

Теперь очередь капусты и остальных овощей — они должны быть порезаны соразмерными кусочками — чтобы в ложку

входило. Только у капусты допускается длинная соломка. Далее я отправляю в кастрюлю баночку оливок (вместе с рассолом), баночку каперсов (маленькую, с рассолом). Не вздумайте использовать оливки с начинкой — таких сейчас полно, это нам не надо. Банку консервированной фасоли — можно в красном соусе, можно без. Фасоль придаст картине нежность, смягчит тона. Теперь надо посолить борщ — я это делаю одним движением и ни разу не ошибся. Режем лимон пополам: половинку на тонкие дольки и — в кастрюлю, вторую половину выжимаем туда же. Пробуем. Учтите, что борщ еще не настоялся, и палитра пока упрощенная, но основное — баланс соленого, сладкого и кислого будет уже ясен. Недостаточно сладости дала свекла — добавьте немного сахара. Мало кислоты — выжмите туда еще один лимон. Если любите острое — положите стручок жгучего перца. Еще раз — все это время борщ не кипит, бурля, а тихо-тихо дышит. Попробуйте еще раз спустя минут 10–15. Довольны? Теперь завершающий мазок — куча рубленой зелени — петрушка, укроп, кинза, зеленый лук (не обязательно) и мелко порезанный чеснок идут в кастрюлю, через полминуты огонь выключается и кастрюля накрывается крышкой. Хорошо, если она у вас толстостенная или у нее хотя бы толстое дно — борщ должен сам с собой потомиться, это важно. В большой толстой кастрюле он не остынет до вечера, когда придут гости.

Не перегружайте стол. Соленые грибочки, квашеная капуста, бочковые помидоры и огурцы — ничего маринованного! Черный (я люблю бородинский) хлеб. Пара рюмок водки. Селедка просится в эту компанию — в принципе возможно. Потом небольшая пауза — мужчины ушли курить, женщины щебечут о глупостях, но сами-то думают только об одном — ибо божественный запах борща не позволяет думать ни о чем, кроме него. Не томите — подавайте!

Про помидоры

Давайте-ка поговорим про помидоры. Лично меня и само слово «помидор» и данное произведение природы приводят в восторг. Слово — звонкое, яркое, звучит гордо. Помню, много лет назад в начале Ленинградского проспекта строился большой жилой дом — по всему фасаду было написано: «ЭТО ДОМ ПОМИДОР». Было непонятно, но очень красиво. Слово придумали, между прочим, итальянцы — «pomodoro» — золотое яблоко. Есть, правда, версия, что произошло слово от старого «поми де море» — яблоко мавров. По смыслу это ближе, да к тому же какие же помидоры, к черту, золотые?

В художественных учебных заведениях объясняют, что такое дополнительные цвета: эта такая пара цветов, когда один на фоне другого максимально работает. Так вот, спелый ярко-красный помидор в зарослях темно-зеленой ботвы — лучший пример. Это божественно красиво. А вы думаете, откуда Петров-Водкин взял свою гамму?

Откуда к нам пришел помидор? А неизвестно. В общем, Южная Америка — Перу, Мексика, Чили… Известно только, что древние индейцы много веков назад культивировали его и употребляли в пищу. Они и дали ему второе название (вернее, хронологически — первое: «туматль». Отсюда — «томат». Мне нравится значительно меньше). А вот в Европе, куда он попал в Средние века, долгое время есть его остерегались — высаживали исключительно как декоративное растение, и даже называли его «волчий персик». Это, в общем, имело под собой некоторые основания — помидор относится к семейству пасленовых, а практически все пасленовые ядовиты. Помидор же в этом смысле уникален — у него ядовито все, кроме самого плода. Так что не вздумайте сделать салатик из листьев помидора — это вам не шпинат. Известен случай, когда во время Войны Америки за независимость личный повар Джорджа Вашингтона, будучи тайным английским агентом, решил отравить своего босса и подал ему жареное мясо с помидором. Джордж Вашингтон, к изумлению повара, не умер, блюдо похвалил и даже сделался впоследствии Президентом Соединенных Штатов. А посрамленный повар наложил на себя руки.

Вот люди были. Сейчас бы, небось, и в отставку не подал.

Помидор, с одной стороны, капризен, с другой — невероятно живуч. Не повторяйте моей ошибки — не высаживайте помидоры с огурцами в одной тесной теплице — не любят они друг друга: причем если огурцы это переживут, то нормального помидора не

будет точно. Такая вот нежность. А с другой стороны — вот вам история: в середине семидесятых мы с «Машиной времени» проводили лето и играли в международном студенческом лагере «Спутник» в Гурзуфе. Директор лагеря с гордостью показывал мне хозяйство лагеря — они там среди прочего даже построили свою очистную систему для сточных вод и канализации (редчайшая вещь для Гурзуфа тех лет. Да только ли тех?). Над бетонным искусственным прудом для отстоя нечистот густо колосились — нет, ягодились! — превосходные помидоры. Я восхитился — прямо в живое удобрение сажают! Директор странно посмотрел на меня и сказал: «Да если б их кто-нибудь сажал…» Так я узнал, что помидорные зернышки (они же семечки) и, кстати, шкурка абсолютно не подвержены разрушительному воздействию человеческого желудочного сока, то есть не перевариваются. Причем настолько, что семечки, пройдя через наш желудочно-кишечный тракт, способны снова взойти! А?

Вернемся к истории… В России помидор появился довольно поздно — в 1870 году их доставили Екатерине из Европы как заморский деликатес. При этом в периферии империи — Астрахани, Крыму, Грузии — помидор уже знали и сажали до этого. Судя по тому, что в главной кулинарной книге Елены Молоховец, настоящей энциклопедии русской кухни, помидору уделено полстраницы (а это толстенный том, рубеж XIX–XX века), я делаю вывод, что к этому времени он широкого распространения как элемент русского стола так и не получил. А если и использовался, то в основном для всяких приправ — помыть, разрезать пополам, вынуть зернышки (!), сварить в собственном соку, растереть и добавлять туда-сюда. Чуть с ума не сошел, пока не обнаружил на самых задворках книги единственный рецепт соления помидоров (для грибов — сотня!), единственный же рецепт маринования, и наконец — салат: снять с помидоров шкурки, порезать, добавить лук. Слава Богу!

Знаете, как снимать с помидора шкурку? Очень просто: сложить в миску и залить на полминуты кипятком. Шкурка лопнет и легко снимется. Я, правда, этого не делаю: по-человечески не хочется над ароматным, красивым помидором проводить такую вивисекцию — по-моему, это его оскорбляет. Любите чистить — чистите репу.

Мамука Кикалейшвили, замечательный грузинский актер, однажды показал мне такое блюдо: берется много очень спелых (можно чуть переспелых — только неиспорченных) помидоров и баранина. Баранину режем на средней величины куски и укладываем в кастрюлю (казан, котел). Потом руками выдавливаем туда наши помидоры, стараясь не забрызгать

одежду и кухню (не получится). Шкурки, остающиеся в руках, выбрасываем. Мясо должно быть полностью покрыто помидорной плотью. Ни специй, ни, заметьте, соли. Тушим на небольшом огне до готовности. Божественное, абсолютно натуральное, древнее блюдо.

С детства вспоминается изуверская картинка: праздничный салат оливье, в центре на возвышении грибок — ножка из вареного вкрутую яйца, шляпка из полпомидора, щедро украшенная майонезными прыщами. Мухомор. Непреодолима тяга народа к прекрасному. Салат начинали радостно делить, грибок падал, целое крутое яйцо никто не желал, полпомидорина тоже была великовата, грибок погибал бесславно в остатках заветренного салата.

Сегодня про помидор написаны и переведены целые кулинарные книги, человечество знает сотни рецептов. Что я буду их вам пересказывать?

Вот, пожалуй, два: лучший и самый лучший.

Первый: возьмите несколько очень хороших помидоров. Очень хорошие — это свежие и выросшие не на гидропонике, а на земле. Да, дорого. Но за удовольствие надо платить. Порежьте их острым ножом аккуратно, чтобы они не потеряли драгоценного сока — дольками. Из каждого помидора получится 6–8 долек в зависимости от размеров. Положите их на тарелку шкуркой вниз и посыпьте крупной морской или каменной солью. Теперь порежьте на дощечке сыр — все равно, какой любите: от твердого итальянского до нежного домашнего грузинского или соленого адыгейского. И откройте бутылку молодого красного вина. Все.

А теперь самый лучший — он, правда, доступен не всем и только в летнее время. И все же. Проснитесь за городом — лучше в деревне. Заставьте себя встать и идите — нет, не умываться и чистить зубы — в огород. Сорвите самый спелый помидор. Оботрите его ладонями — он будет теплый и может быть, чуть-чуть бархатистый. А теперь зажмурьтесь и откусите от него бок. Только не спешите и не думайте в этот момент ни о чем. Вы все ощутили и все поняли? А теперь спокойно доедайте помидор и возвращайтесь в дом — день уже не зря прожит.

Про грибы

Любите ли вы грибы? Нет, любите ли вы грибы, как люблю их я?

Я имею в виду и любовь к походам за грибами, и любовь к их употреблению.

Я незнаком со статистикой, но полагаю, что в этом плане наша страна уверенно лидирует. Мы любим, собираем и готовим самые разнообразные грибы. В большинстве стран лесные грибы либо вообще игнорируют, либо относятся к ним крайне избирательно — в Германии, например, собирают лисички — и, кажется все. Европа предпочитает искусственно выращенные шампиньоны, которые к ароматному лесному грибу относятся примерно так же, как дикая ручьевая форель к своей откормленной комбикормом на убой разводной родственнице.

Однажды мы с Сашей Розенбаумом, путешествуя по Аляске, остановились в лесном домике нашего местного друга. Пока мы ехали на джипе через сосновый бор, я даже на ходу замечал тут и там нагло торчащие из травы по обочинам оранжевые шляпки здоровенных подосиновиков. В общем, мы решили пойти за грибами. Мы взяли два ведра, и пока дошли от крыльца до калитки, поняли, что поход закончен — ведра были полны.

Наш местный друг (и пара его друзей) со священным ужасом наблюдали, как мы чистили, резали и жарили с луком и картошкой наши грибы. Попробовали они их не сразу — сначала они смотрели, как их едим мы, и ждали, когда к нам придет смерть. Минут через двадцать самый смелый из них опасливо присоединился к нам. Эти ребята, рыбаки и охотники, полжизни прожившие в лесу, были убеждены, что лесные грибы ядовиты.

Дикие люди, ей-богу.

Я обожал ходить за грибами с детства. Правда, было это в те благословенные времена, когда даже не выходя за пределы какой-нибудь подмосковной Валентиновки или Купавны практически под любой елью можно было обнаружить гриб, иногда даже белый. Сегодня в радиусе семидесяти километров от Москвы леса вдоль любой трассы чудовищно загажены, и входить туда грустно и неприятно. Теперь надо знать места, иметь время добраться до них и никому о них не рассказывать. А там, где я собирал грибы в детстве, сегодня торчат башни домов городского типа и пугают пятиметровыми стенами коттеджные поселки.

Наша средняя полоса тем не менее пока еще дарит нам огромное разнообразие грибов — они здорово отличаются друг от друга по своим кулинарным достоинствам. Абсолютное

большинство их съедобно. По-настоящему смертельно опасна только бледная поганка, но вид ее настолько характерен, что ошибиться, по-моему, невозможно. Крайне интересны и неоднозначны мухоморы (викинги жрали их перед боем за милую душу), но экспериментировать не советую. Есть еще пара-тройка необязательных к употреблению грибов, поэтому если знаний вам не хватает, но интуитивно вы испытываете сомнения, — не берите этот гриб, ну его. Сосредоточьтесь на тех, которые сомнений у вас не вызывают. Многие считают, что грибы перед жаркой следует на всякий случай отварить — не будем их разубеждать. Некоторые и правда не помешает.

Забавно, что в глухих деревнях Архангельской губерни, где грибы можно косить косой, берут только один гриб — рядовку (у нас его многие как раз держат за поганку). Его солят, и зимой едят, намяв с картошкой — он заменяет мясо. Остальные грибы за грибы не считают — мои любимые маслята, например, называют «соплятами», и мне даже не разрешили занести корзину маслят в дом — а они там росли прямо на дороге. Странно, правда?

Что же касается грибоедения — каждый гриб хорош по-своему, и тут знание и опыт не помешают. Например, считается, что белый гриб выдает свой волшебный аромат исключительно в сушеном виде, и тут надо варить из него суп. Я и сам так считал долгие годы, пока однажды мой товарищ на моих глазах не сварил суп из только что собранных белых грибов — и это было божественно. Моя подруга Таня Лазарева делает из сырых белых грибов карпаччо — нарезает тончайшими пластинками и поливает оливковым маслом. Чуть-чуть соли. Все. Рыжики и белые грузди невероятно хороши в соленом виде (маринованное не люблю), особенно если они молоденькие, крепенькие, не потеряли своего цвета и слегка похрустывают, когда закусываешь ими рюмочку холодной водки. В жареном виде исключительно хороши лисички и опята (я бы их только на это дело и пускал), вкусны молодые маслята (лучше содрать со шляпок шкурку) и, как ни странно, сыроежки. Очень неплохо жаренное ассорти из разных грибов, надо только учесть, что если среди них много взрослых подберезовиков — их шляпки при жарке непременно превратятся в кашу, пусть вкусную, но не очень красивую, и тогда уже лучше на конечной стадии залить грибы сметаной и немного потушить. Лук рекомендую жарить отдельно, так же как и картошку, и соединять вместе, когда все уже готово — у каждого из этих продуктов свое время приготовления, и если вздумаете жарить все одновременно в одной сковороде — грибы уже будут готовы, картошка — еще сыровата, а лук уже подгорит.

Ладно, вот вам два простых рецепта.

1. Паста с белыми грибами.

Белые грибы порезать тонкими дольками, быстро обжарить в сливочном масле, слегка посолить и залить жирными густыми сливками. Потушить на медленном огне, постоянно помешивая, пока сливки не превратятся в густой соус. Одновременно сварить пасту (на нее уйдет столько же времени) в соленой воде с небольшим количеством оливкового масла. Откинуть пасту на дуршлаг, разложить по тарелкам, залить сверху соусом с белыми грибами. Подать с белым вином. Изысканней, проще и быстрее не бывает.

2. Лисички, жаренные по-особому.

Лисички тщательно очистить от земли и песка, промыть. Выложить в глубокую сковороду без всякого масла, поставить на большой огонь. Помешивать. Через несколько минут лисички дадут обильную воду, которая начнет кипеть и испаряться. Ровно в тот момент, когда вода испарится полностью (не раньше и не позже!), добавить сливочное масло и большое количество порубленного зеленого лука — его должно быть не меньше, чем было грибов в сыром виде. Перемешать, посолить и жарить, помешивая, еще минут пять, не больше. И лисички и лук сохранят свой цвет, и это будет осень красиво. Подать с разварной картошечкой, бородинским хлебом и рюмкой водки.

Ладно — с двумя.

Свекольник

Итак, лето, господа. И с этим приходится считаться. Интересно — в старой русской кухне довольно много блюд, которые приятно употреблять в жару. Притом что Россия расположена не в самом жарком климатическом поясе. Не тропики. А блюд таких много, и в основном это холодные супы — свекольник, щавелевый суп, ботвинья (полная русская ботвинья — это отдельная песня, подается в трех тарелках. В голове до сих пор играет детский стишок: «Ты свинья и я свинья, все мы, братцы, свиньи! Нынче дали нам, друзья, целый ковш ботвиньи!»

Свекольники у хозяек бывают исключительно разные, и не всегда они вызывали у меня восхищение. Смесь вареных и сырых овощей — это только кажется простым. Иногда получается «ты свинья и я свинья…» Но вот вам рецепт необыкновенного, божественного блюда, блюда небесной красоты. Еще раз напоминаю, что мои рецепты — это не рецепты в медицинском смысле — это дорожные карты. Не надо вешать в граммах.

Автор этого чуда — замечательный режиссер Павел Семенович Лунгин. Некоторое творческое осмысление внесла наша подруга Ольга Ципенюк. Мне чужой славы не надо. Я не изобретатель — я собиратель и компилятор.

Итак. Свекла для этого блюда не варится, а печется в духовке. Берите свеклу средней величины, чтобы наверняка пропеклась. Завернуть каждую в фольгу и отправить в духовку на час-полтора. Кстати, это можно сделать накануне и убрать ее в холодильник. Перед приготовлением свекольника почистить и размолоть в блендере. Лунгин доводит до однородной каши. Я пробовал натирать на мелкой терке — тоже хорошо, но немного другое. Нюансы, господа! Искусство в нюансах! Каша при этом, заметьте, не должна превратиться по консистенции в детское пюре — не перестарайтесь. Тонкая штука.

Свежие огурцы почистить (пижонство, но помните о нюансах!) и натереть на крупной терке. Крутые яйца нарезать мелкими кубиками. Укроп, зеленый лук и мяту (от мяты, естественно, только листья) рубим как можно мельче.

Свекольную кашу, огурцы и яйца выкладываем в большую супницу (много раз замечал — вкус блюда часто напрямую связан с объемом. Размер имеет значение. Не пытайтесь приготовить этот свекольник в детской мисочке). Туда же выжимаем сок из целого лимона, добавляем пару ложек простой самой острой русской горчицы и пару ложек простого острого хрена. Хрен, конечно, лучше самому натереть — ядреней будет, Но если вы

страшитесь этих высот — купите в баночке. Повторяю — самый простой, острый, не сливочный, без добавок. Наша подруга Ольга сразу кладет туда и порубленную зелень — я оставляю зелень на последний штрих — из чисто художественных соображений.

Да! В холодильнике к этому моменту у вас уже давно должен находиться нежирный кефир (1–2 % жирности) и ЛЕДЯНАЯ (но не замерзшая) газированная вода с умеренным количеством газа (типа Perier). Всю нашу смесь разводим сначала кефиром, перемешивая, потом — газированной водой. Их соотношение регулируется вашим вкусом: люблю погуще — люблю пожиже. Соль и перец по вкусу.

По мере перемешивания поверхность расцветает невероятными оттенками маджента и фуксии. Сейчас вы уже не повар — вы художник. Живописец. Размешайте красиво, не доводите до одного равномерного колера. И в нужный момент вбросьте в эти порочно-розовые разводы изумрудную зелень. Петров-Водкин отдыхает. Еще пара движений ложкой, чтобы зелень окончательно вписалась в полотно, — и можно подавать. Подавать в жаркий летний день, в тени. Маленькая рюмка водки (также охлажденной) не возбраняется.

Блюдо это одноразовое и легкое — съесть до конца. Не хранится.

Холодные супы

А вот интересно — страна наша, безусловно, не относится к числу самых жарких стран на планете, — а по обилию и разнообразию холодных супов даст сто очков вперед любому тропическому государству. Думаю, это отголоски старой русской культуры — сидеть посреди жаркого летнего дня в беседке или на открытой террасе (но непременно в тени!) своего маленького дома в маленьком поместье где-нибудь под Смоленском, вкушать ботвинью или щучину под рюмочку из запотевшего графинчика и толковать с заезжим товарищем — куда катится мир.

Нет, есть, конечно, холодные супы и в других странах: в Испании, например, гаспаччо — по сути суп-пюре из помидоров. В Польше готовят фруктовый суп — чисто компот из сухофруктов, привет пионерскому детству. В Болгарии делают суп из огурцов на кефирчике. Все это неплохо, но в России тема раскрыта куда глубже.

О чудо-свекольнике я вам рассказывал. Про окрошку говорить даже как-то неудобно — любой дурак знает, как чего накрошить. Казалось бы. Тем не менее: Маркс, Энгельс и Ленин русской кухни в одном лице Елена Молоховец учит нас класть в окрошку не менее пяти (!) видов мяса. Перечислить? Жареную дичь, говядину, телятину (не одно и то же!), баранину, вареную ветчину, солонину, копченый язык. Конечно, Елене Молоховец неведомо было такое чудо, как вареная докторская колбаса советского разлива — она заменяла и продолжает нам заменять весь этот выпендреж. И все же прислушайтесь к мастеру. Если уж так любите колбасу (я, например, обожаю) — пусть она станет еще одним ингредиентом. А вот картошка в списке не указана. Нет там и редиса. А есть (кроме тщательно и одинаково мелкопорезаных мяс) свежие (либо, кстати, соленые — тоже интересно) огурцы, крутые порубленные же яйца, зеленый лук (можно его растереть с солью), укроп, эстрагон. Квас разбавляется бутылочкой кислых щей (примечание: бутылочные кислые щи никакого отношения не имели к щам из мяса и капусты — это был тот же квас, только не из хлеба, а из муки — ржаной, гречневой. По причине сильной шипучести его закупоривали в бутылки на манер шампанского). Этого напитка уже нет (а был очень популярен), так что обойдемся квасом — только не берите очень сладкий. В деревнях делают окрошку на белом квасе — он совсем кислый, даже невкусно. Горчица, хрен, сметана — по вкусу. Если не успели предварительно как следует охладить квас — бросьте в тарелку пару кубиков льда.

Большая русская ботвинья подается в трех тарелках. В одной — собственно ботвинья: щавель (можно добавить шпинат) сварить в собственном соку, протереть через сито (читай — измельчить в блендере до состояния однородной массы), очистить и мелко нарезать свежий огурец, зеленый лук, растертый с солью, укроп, горчица, хрен, можно чуть-чуть сахара по вкусу. Залить квасом. Во второй тарелке — отдельно сваренная с кореньями, отделенная от костей и охлажденная рыба — любая: осетрина, лососина, сиг, судак, раковые шейки. В третьей тарелке — лед, измельченный до консистенции сахарного песка. Ложкой зачерпываете немного льда, потом — кусочек рыбы, потом — ботвиньи. Рюмка все это время находится в левой руке. И тут — не перепутать: выпить и тут же насладиться всеми тремя составляющими в одном флаконе.

Или вот интереснейшая штучка — «щучина». Несмотря на название, сама щука в ней совершенно необязательна. Хотя допустима. Ибо рыба берется разнообразная — чем разнообразней, тем лучше. Но сначала варится крепкий бульон из рыбных костей и ершей — ерши дают отличный навар. Рыбьи головы тоже не повредят. Потом его следует процедить и уже в нем сварить рыбные филеи (кости будут раздражать). Раковые шейки приветствуются. Соленую рыбу отварить отдельно. Затем нарезать непременные свежие огурцы (почистить!), зеленый лук, укроп. Добавить хрен, возможно и горчицу. Залить это дело охлажденным рыбным бульоном, положить туда порезанную на порционные куски (не мельчить!) рыбу, и — внимание! — добавить холодного квасу. Забавное сочетание, правда?

А вы попробуйте!

Тандыр

Меня тандыр завораживал с того момента, как я его впервые увидел. Меня вообще всегда интересовали древние способы приготовления пищи. Молекулярная высокая кухня оставляет совершенно равнодушным, а цены на нее просто умиляют. Первые упоминания о тандыре встречаются в X веке, но это ничего не значит — чего о нем упоминать-то? Тандыр — он и есть тандыр. Я полагаю, что появиться он мог гораздо раньше, еще когда люди научились делать печи для выплавки меди и бронзы — он и похож на такую печь. На островах Океании я видел, как туземцы выкапывают яму, жгут в ней костер, потом разгребают угли, помещают в это место продукт (мясо, рыбу, овощи) в горшке либо просто завернув все это в листья банановой пальмы — и засыпают землей часа на три. Тоже, по сути, тандыр — одноразовый. В Ташкенте, много лет назад, я сидел у входа в старый рынок (его уже нет — погиб при землетрясении) и часа полтора, не отрываясь, смотрел на древнюю бабку, которая меланхолично, не глядя, бросала самсы — треугольные пирожки из слоеного теста с луком и бараниной внутри — в раскаленную пасть тандыра. Тандыр был огромный и над поверхностью земли возвышалось только его широкое горло. Самса летела по диагонали и прилипала к внутренней стенке тандыра своим основанием. Движения бабки были скупы, размеренны и безошибочны — она даже не провожала летящие пирожки взглядом. Я ждал, что хоть один не прилипнет и упадет на дно — в адское пекло. Ничего подобного не произошло — ни разу. Заполнив самсами равномерно все пространство стенок изнутри, бабка пододвинула к себе таз с фаршем и принялась лепить новые — так же размеренно и отстраненно. Из тандыра тем временем повалил такой запах, что уйти уже было просто невозможно. Минут через десять бабка взяла деревянную лопатку с длинной ручкой и склонилась над кратером — жар шевелил ее волосы. Я понял, что вот этой лопаткой она сейчас будет отковыривать готовые самсы от вертикальных стенок и вот теперь уже точно хоть одну плюшку уронит — очень уж неудобным казался предстоящий процесс. Да ни фига! Достаточно было одного легкого прикосновения — и румяный треугольничек отсоединялся от раскаленной стены и послушно ложился на лопаточку. Номер можно было показывать в цирке. Я съел четыре штуки.

Родиной тандыра считается Азия, и почти на всех языках звучит его название одинаково: в Азербайджане и Узбекистане это тандир, у таджиков — тонур, в Армении — тундыр, в Грузии

— тонэ. Индийские блюда «тандури» — из того же тандыра. Большие тандыры — для выпечки лаваша, лепешек и всего связанного с тестом — закапывают в землю, в таком случае снизу к ним прокапывают воздуховод. Размером такие тандыры могут быть с небольшую комнату. Чем больше его объем, тем толще стенки, значит, дольше будет сохраняться жар и не придется топить его каждый час. Небольшие тандыры могут стоять на ножках.

Такой тандыр я и приобрел себе несколько лет назад. При всем недоверии к Интернету нашел страничку (я даже не предполагал, сколько тандыров на меня оттуда вывалится), определился с оптимальным соотношением размер-цена-качество, и через четыре часа к моему дому подъехала машина. Не могу сказать, что мой тандыр совсем небольшой, как раз из «надземных» он весьма большой — молодой барашек или поросенок входят туда целиком (хотя целого барашка пока не пробовал, врать не буду), а цыплят я туда загружаю по шесть штук. С тестом работать не пробовал (я с ним вообще на «вы»), а вот мясо, птица, рыба и овощи — мое. Работать с тандыром настолько интересно, что любимые мои мангал, казан, вок и пойке разом уехали на второй план. По книжке готовить в тандыре не научишься, действенна только практика, первые потери неизбежны, и вот с чем я столкнулся в процессе.

Первое: следует научиться греть тандыр до оптимальной температуры. При этом градусников в нем не предусмотрено — все на таланте. При протопке (советую использовать березу либо жарко горящие и несмолистые сорта дерева) стенки тандыра покрываются изнутри черной копотью, а потом вдруг белеют. В принципе это говорит о том, что тандыр готов, но диапазон температур при этих белых стенках еще велик: перегреете — и обуглится корочка, недогреете — не пропечется блюдо внутри. И еще одна важная и неожиданная вещь: в тандыре (в отличие, скажем, от духовки) аккумулируется определенное количество тепла. И если поместить туда двух цыплят — они будут готовы через двадцать минут, четыре цыпленка потребуют минут тридцать пять, а шесть могут и не дожариться. Поэтому температуру надо всегда выбирать исходя из количества продукта — притом что речь идет об одной закладке. Как я это делаю? На ощупь. Прикасаясь к внешней поверхности тандыра. Не обожгитесь.

Далее, следует помнить, что каждый продукт обладает своей «жароустойчивостью». Курица будет печься полчаса, таких же размеров утка — не менее часа, а то и поболе. Рыба готовится моментально, помните только, что некоторые рыбы, испекаясь,

становятся очень мягкими, и если вы, например, затеете шашлык из сома (это вкусно) — кусочки могут запросто свалиться с вертикально висящего шампура и бесславно пропасть. Поэтому я после пары таких случаев выбросил шампуры с насечкой, которые к тандыру прилагались — они в процессе готовки вешаются вертикально, и этой самой насечки явно недостаточно. Вместо этого я взял шампуры с мангала. С одной стороны у них колечки, за эти колечки их удобно вешать на перекладину. Сами шампуры я согнул, получились большие крючья. Совсем другое дело.

Для цыплят я смешиваю оливковое и подсолнечное масло, давлю в него чеснок, добавляю сухой имбирь, красный перец, кориандр. Обмазываю этим делом цыплят и даю им полежать с часик.

Баранина (лучше брать корейку с ребрами целиком, резать будете уже на столе, это красиво) — та же смесь масел, зира, красный перец, хмели-сунели. Пусть полежит. Солю я все это уже перед самой жаркой — непременно крупной солью.

Овощи просто нанизываю на крюк. Выбирайте овощи, которые требуют примерно одного времени приготовления — скажем, цукини, баклажаны и болгарские перцы. Помидор готовится быстрее: передержите — размякнет и упадет. Лук — медленнее.

Не ленитесь выгребать из тандыра угли перед готовкой, когда он нагрелся.

Мой товарищ уверяет меня, что если при жарке барашка на дно тандыра положить болгарские перцы, то их испаряющийся сок придаст мясу дополнительный аромат. Не знаю, не пробовал. А надо бы.

Фаршированная рыба

Давно меня занимает один вопрос: сверять свое восприятие цвета, вкуса и запаха мы можем только с ним же самим — в другого человека не влезешь! А вы уверены, что он видит и чувствует в точности то же, что и мы? Вот на стене картина, на ней синее-синее море. А КАКОЕ оно синее? У синего тысяча оттенков — какие именно видите вы? А ваш товарищ?

Со вкусом еды еще сложнее.

Помимо всего прочего фаршированная рыба, возможно, занимает первое место по разнообразию вариантов — и из-за большого количества компонентов, соотношения которых можно легко менять, и из-за семейных традиций — у каждой еврейской бабушки своя фаршированная рыба.

Итак. Мы имеем дело со старинным праздничным блюдом европейских и российских евреев. Одна из версий его появления состоит в том, что в Шаббат нельзя работать — а вынимать из рыбы кости при поедании — тоже, увы, работа. Поэтому рыбу ставили на огонь на ночь, и даже если какие-то кости случайно оставались в фарше — они совершенно размягчались. В качестве исходного продукта евреи побогаче брали карпа, те, что победнее, — щуку (она считалась до революции сорной рыбой и почти ничего не стоила). Хлеб, нещадно добавлявшийся в фарш, служил в первую очередь для увеличения массы продукта (а вы думали, в советские котлеты хлеб для красоты клали?), а вот же вкусно получалось. (Такое часто бывает: хочет человек приготовить аутентичный узбекский плов, носится по рынкам в поисках хлопкового масла — оно дает такой специфический аромат! А узбеки используют его потому, что оно самое дешевое.)

Существует две формы подачи блюда: когда вы набиваете предварительно снятую шкурку фаршем и даже придаете ей форму рыбы, либо просто делаете из фарша тефтельки — гефелте фиш. Первый способ непрост: чтобы снять с рыбины шкурку целиком, не повредив, нужно иметь за спиной практику пластического хирурга. К тому же вам понадобится специальная продолговатая кастрюля — гусятницей тут не отделаетесь. Поэтому обычно я выбираю второй способ — та же рыба, только в профиль.

Сначала тщательно отделяем мясо от костей (чешую сняли, а шкурку не трогаем — перемелется вместе с мясом). На дно большой кастрюли укладываем рыбьи кости и плавники, порезанную крупно свеклу, морковь, репчатый лук (в Одессе его не чистят — он даст цвет). Перец черный горошком и белый

душистый, соль, довольно большое количество сахара. Затем прижимаем это дело ко дну специальной сеткой (я сам соорудил), хотя можно просто все это завернуть в марлю, наливаем воду, ставим на огонь. Пока вода закипает, готовим фарш. Я ставлю на мясорубку сетку с самыми большими отверстиями — у нас должны получиться крохотные кусочки всего, а не каша-размазня. Фарш помимо рыбы включает в себя лук, чеснок, морковь (немного), белый хлеб, вымоченный в воде, либо в молоке, либо в сливках, или мацу, вымоченную в молоке либо в сливках, или манную крупу, или сочетание этих трех ингредиентов в выбранных вами пропорциях. Взбитое сырое яйцо (или два — в зависимости от общего размаха). Соль, молотый черный перец. Некоторые художники добавляют любимые специи, кедровые орешки. Я в данном случае не сторонник новаций. Теперь фарш следует не только хорошо помешать, но побить — желательно бросая с размаху на каменный стол, это придаст ему воздушности. Очень важно угадать конечную консистенцию — тефтельки не должны расползаться и разваливаться, в то же время им нельзя быть чрезмерно плотными. Годика два-три — и все у вас получится. Особенно тщательно надо нафаршировать голову (или головы) — это самая вкусная и главная часть. Вода уже закипела, мы осторожно опускаем туда головы, потом лепим смоченными в воде руками тефтельки величиной со снежок и аккуратно опускаем их в кастрюлю по одной. Вода должна их покрывать. А теперь убавляем огонь до минимума, накрываем кастрюлю крышкой и забываем о ней часа на четыре.

По истечении срока выключаем огонь, берем большое и достаточно глубокое блюдо, аккуратно выкладываем тефтельки и головы. Я в этот момент не могу удержаться от бабушкиных традиций: со дна кастрюли выуживается морковка, режется на тонкие кружочки и на каждую тефтельку такой кружочек кладется сверху. Идиотизм, но ничего с собой не могу поделать. Не, ну а как?

Если костей и плавников у вас было много и вы уверены в успехе, надо просто залить это блюдо процеженным бульоном. Если сомнения терзают вашу душу, — добавьте в бульон немного желатина. Его никто не заметит, а вы никому не говорите. Когда блюдо остынет, поставьте его в холодильник.

И еще. Фаршированная рыба (под водку) — это в моем представлении моноблюдо. Оторваться от него невозможно, поэтому его должно быть много.

Способ мой отличается от множества способов, описанных в кулинарных книгах и Интернете. Но многократно проверен практикой. Никто не жаловался. Напротив — плакали

счастливыми слезами, требовали добавки. Потратьте денек, попытайтесь — вдруг у вас тоже получится?

Шашлык

Шашлык — национальная российская забава. Вернее, сам шашлык — мясо на вертеле — одна из ее составляющих. Но, согласитесь, не последняя.

О ней и поговорим.

Многие считают, что это блюдо пришло к нам с Кавказа. Это заблуждение, дорогие мои, — ему столько же тысячелетий, сколько и человеку — считая с того момента, когда человек научился поддерживать огонь и убивать зверей. Само слово «шашлык» — тюркское, и состоит из двух частей: «шаш» (или «шиш») — вертел, и «лик» — собственно, то, что на вертеле. На Руси в былые времена этот продукт назывался «верченым мясом» — вовсе не потому, что мясо было верченным через мясорубку, как меня недавно пытались убедить, — какие мясорубки при Иване Грозном? — а потому что вертел вращали над огнем (он, кстати, оттого и «вертел»). Довольно забавно происхождение модного ныне слова «барбекью»: по-французски «barbe a queue» дословно означает «от головы до хвоста» — в Европе, да и у нас зачастую на вертел насаживали целого барана, кабанчика, а то и бычка. Это зрелище, кстати, вкупе с ароматом, завораживает меня до сих пор.

Барбекью в Америке так же как и у нас, является социальным мероприятием — с компанией, задушевным общением и напитками. Но гастрономическая составляющая меня не впечатлила, увы: во-первых, никто не маринует мясо сам (кроме сумасшедших русских эмигрантов первой волны), в супермаркетах полно замаринованных на любой вкус полуфабрикатов — жарь да ешь, во-вторых, зачастую это происходит на пылающих огнем жаровнях — только врожденная политкорректность не позволяла мне вмешаться. И ладно еще угли из мешка — а если это газовый гриль? Глаза б мои не видели.

У нас тоже последнее время появились в продаже пластиковые ведерки и ведра с замаринованным мясом — обычно это свинина. Приходилось пробовать — в общем прилично, но до такой степени мягко, что в голову закрадывается мысль, а какого такого умягчителя они туда плеснули? Широко простирает химия руки свои в дела человеческие. Нет, никто не умер — после второго стакана вообще перестали об этом думать. И все же.

Я люблю все сделать сам. Это даже не вопрос недоверия общепиту — просто приятно самому написать полотно, собрать достойных друзей на вернисаж, и пусть они аплодируют,

изумленные. А в магазине и дурак купит — это, если хотите, знак некоторого неуважения к ближнему, а стало быть, и к себе самому.

В этой связи — несколько разрозненных рекомендаций, основанных исключительно на личном опыте. Уверен, что у многих из вас имеется собственный опыт, дающий превосходные результаты, и он разнится с моим.

Ну и ладно.

Мясо. Если это свинина или баранина — оно не должно быть слишком жирным или жилистым. У свиньи хороша шейка, задняя нога. У барашка — задняя нога и ребрышки, и хорошо если барашек юн, а не умер своей смертью. Из говядины я беру исключительно вырезку. Вырезку режу крупно (крупней, чем барана и свинью, а их тоже не следует особо измельчать — шашлык получится сухой). Вырезка маринуется в сметане, куда добавляется мелкопорубленный лук, соль, травы и специи на ваш вкус. Мариновать от 4 до 12 часов.

Маринады могут быть бесконечно разнообразны, об одном прошу — забудьте слово «уксус». Сухое вино я также не приветствую — недалеко оно ушло от уксуса. Если уж вы никак без кислоты — возьмите лимон, это гораздо лучше. Репчатый лук — обязательная составляющая, можно его провернуть через мясорубку, и много его не бывает. Безграмотные фотохудожники очень любят снимать такое: над дымящимся мангалом шампур, а на нем — кусок мяса, колечко лука, кусок мяса, колечко лука… Никогда так не делайте: лук у вас сгорит, а мясо еще будет сырым. Лук делает свое дело в маринаде. Хотите овощной гарнир — отдайте один шампур овощам: луковица, помидор, баклажан… В баклажан можно, надрезав его, засунуть кусочки чеснока и курдючного жира.

Великолепным размягчителем баранины (а она в первую очередь нуждается в размягчении) является минеральная вода — чем больше газа, тем лучше. Причем она не отменяет лука и прочих компонентов.

Шампур. Хорошо, когда он длинный, прочный и все-таки трехгранный — на плоском шампуре мясо будет болтаться и крутиться. Сажать куски мяса следует довольно плотно друг к другу, ни в коем случае не оставляя пространства между кусками — сок уйдет. Дрова я беру березовые и все-таки дрова, а не уголь из бумажного мешка: я его не чувствую, не понимаю — определить жар на глаз невозможно, а приготовление шашлыка — сплошная цепочка тонкостей.

Цыпленка развернуть как книгу, смазать тонким слоем растительного масла, натереть чесноком, сухим имбирем,

кориандром, красным перцем и крупной солью. На решетку. Не забыть перевернуть минут через семь-десять.

Бараньи ребрышки: не режьте их на тонкие лепесточки с торчащим ребром из каждого — жарьте на решетке целой колбасой, сочнее будет. Разрежете уже на столе — это красиво. Перед жаркой помазать оливковым маслом, сверху зира, кориандр, перец, крупная соль. Пусть полежит в тишине хотя бы часик. И помните: это свинину надо прожаривать как следует, а бараньи ребрышки должны сочиться прозрачным чуть розовым соком.

Гениальный шашлык из угря: выпотрошить, но не снимать шкуры, порезать на куски сантиметров по пять, утопить в провернутом луке часов на шесть. Уже на шампуре посолить — чем соль крупнее, тем лучше. Если в копченом варианте шкурка угря практически несъедобна, то здесь она получается хрустящей и божественной.

И — любимое: узбеки называют это «джигар». Баранья печенка и курдючный жир режутся довольно мелко (квадратики по четыре квадратных сантиметра), насаживаются на шампур поочередно. Вот тут шампурчик желательно иметь небольшой, и порция на нем должна быть на два укуса. Посыпать красным перцем, немолотым кориандром и крупной солью. Штучка эта хороша тем, что жарится она минуты три (не вздумайте пересушить!) и очень располагает к выпиванию в приятной мужской компании прямо над мангалом: выпил — и закусил. К тому же нельзя давать джигару остыть.

Что пить под шашлык? Да все что угодно! Что я, учить вас буду?

НЕВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

Зимняя сказка

Зима опять наступила неожиданно. Вообще, в стране отлично знали, когда у них наступает зима — это бывало раз в год, обычно в середине ноября, но традиция жила и даже приобрела характер национальной игры — считать, что зима наступает неожиданно. Вот и сегодня диктор в телевизоре возбужденно вещал: «Зима в этом году наступила неожиданно, и город украсили многокилометровые пробки».

Многокилометровые пробки совершенно не интересовали молодого зайца Тимофея — он сидел в лесу под ветвями старой ели и напряженно думал. Еще вчера он радостно носился по полям и опушкам и его серая шкурка отлично сливалась с осенним ландшафтом — пожухлой травой, темными опавшими листьями. А сегодня все пространство до горизонта покрывал белый-белый и чистый-чистый снег. Тимофей, потомственный заяц-беляк. (Для справки: заяц-беляк вовсе не участник белого движения, точно так же, как заяц-русак — не обязательно этнический русский. Просто заяц-беляк зимой меняет свой окрас на белый. Так заведено.) Так вот, Тимофей обязан был еще пару дней назад сменить свою шубку на белую. Загодя. Всю свою жизнь — два или три года — он именно так и поступал. А тут… Забегался, завертелся… И вообще всеобщее разгильдяйство и неумение строить долгосрочные планы пагубно сказываются на молодой неокрепшей личности… Да и снег тоже хорош — взял и выпал! И что теперь делать? Так думал заяц Тимофей, сидя в лесу под елью. Прятаться под навесом из еловых лап еще было можно, а вот выйти в сером прикиде на белый простор уже никак не получалось: ты тут же становился отличной мишенью для охотников и сильным раздражающим фактором для всяких лесных ребят, любящих зайчатину.

Но долго сидеть под елкой тоже никак не получалось — особенно если это молодой заяц-беляк, даже если он не успел переодеться. Молодые зайцы вообще очень непоседливы. Что же теперь, весны тут ждать? Не прошло и часа, как Тимофей выполз из своего укрытия, огляделся и осторожно двинулся в сторону опушки. Вокруг стояла тишина, которая бывает только в день первого снега, и Тимофей быстро успокоился. У зайцев вообще все происходит быстро.

— Эй, косой! Совсем страх потерял? Тебя чего, давно не ели? Стоять-бояться!

Ну вот, приехали. Сзади не спеша приближалась лиса Анжела — существо ехидное, нервно-неуравновешенное и потому

небезопасное. Бежать было поздно.

— Ничего я не потерял! — крикнул Тимофей и на всякий случай тихонько добавил:

— Здравствуй, Анжела.

— Здравствуй-здравствуй, — Анжела неторопливо обошла замершего Тимофея и уселась прямо перед ним. — Ну и что это мы такие демисезонные? Сентябрь на дворе?

— Ничего мы не демисезонные! — прокричал Тимофей, зажмурившись. — Это… Это такой тренд!

Если честно, Тимофей сам не очень понял, что он сказал. И вряд ли смог бы объяснить значение слова «тренд». Слово это он видел однажды на обложке журнала мод — она валялась на обочине шоссе, а Тимофей был очень любознательным зайцем и при возможности читал все, что читалось.

— Тренд, говоришь? Зимний? — произнесла лиса и задумчиво оглядела свой огненно-рыжий хвост.

— Тренд! Не сойти мне с этого места! — отважно ответил Тимофей, не сходя с этого места. Терять было уже нечего.

— Ах, какие мы продвинутые! — пропела Анжела, но в голосе ее слышны были нотки неуверенности. — Чем докажешь, Кавалли?

Тимофею очень хотелось ткнуть пресловутой мятой журнальной обложкой прямо в наглую рыжую морду, а только не было у него никакой обложки — ее давно унес ветер, да и нарисованное на ней выглядело совсем не серым — наоборот, что-то весьма пестрое, веселенькое. Спасение пришло неожиданно.

— Да вон, посмотри! — шепотом воскликнул Тимофей и кивнул в сторону опушки. По опушке важно шествовал волк Арнольд. Роскошная его шуба играла на солнце всеми оттенками благородной серой гаммы. Анжела застыла — похоже, она лишилась дара речи.

— Ну что? Может, у него пойдешь, спросишь? — обнаглел Тимофей. (Зайцы быстро наглеют.) — Совсем ты от жизни отстала, рыжая!

Анжела смерила Тимофея долгим и каким-то новым взглядом, развернулась и молча исчезла в чаще. Она пошла писать письмо двоюродной сестре Зинаиде — та была чернобуркой и жила в государственном питомнике — нету ли у них чего серенького? Волк Арнольд был слишком увлечен своими мыслями — он решал в уме шахматную задачу, — поэтому никого и ничего не заметил. А заяц Тимофей вернулся под елку, перевел дух и теперь думал — переодеваться в белое или с его легкой руки новый тренд уже шагает по планете?

Вилка Зина

Зинаида была очень хорошо воспитанной потомственной вилкой. И мама, и бабушка ее были вилками и всю свою жизнь безукоризненно выполняли свою работу. И Зина всегда строго следила за тем, чтобы она была хорошо вымыта, блестела и при сервировке стола располагалась именно на том месте, которое ей было отведено правилами. Нерадивых официантов, путающих эти правила, Зина не переносила. Впрочем, нерадивых официантов в ресторане, где работала Зина, не водилось — это был очень хороший старый ресторан, гордящийся своими традициями.

Каждый день задолго до прихода гостей Зину вместе с другими столовыми приборами тщательно протирали и раскладывали на свежей хрустящей скатерти стола в строгом порядке — это был любимый Зинин момент: ей казалось, что начищенные приборы выстраиваются, как солдаты на плацу, и сейчас начнется парад.

А что вы думаете! В центре — торжественная белая тарелка на другой тарелке — побольше, справа — салатный нож, потом ложка для супа, потом нож для рыбы, потом нож для мяса, слева — салатная вилка, потом рыбная вилка, потом она, Зина, — у самой тарелки! А сверху еще ложечка и вилочка для десертов и фруктовый ножик! А сверкающие, тончайшего стекла бокалы? Для воды, для белого вина, для красного? А салфетка, наконец, — накрахмаленная, горящая белизной салфетка, схваченная в талии широким серебряным кольцом? Зина наслаждалась каждым мгновением этого праздника.

Когда Зиной ели, она этого, честно сказать, не любила. Во-первых, это не больно-то приятно — когда тобой едят. Во-вторых, идеальный порядок построения на столе быстро нарушался, гости веселели и часто хватали совсем не тот прибор, который полагался к блюду. Хотя, казалось бы, как можно перепутать? Бери по очереди с краю и не ошибешься. Так что когда до Зины доходила очередь и ей ели, она зажмуривалась и терпела, так как догадывалась, что в понимании людей это и есть ее основное предназначение. Потом вечер подходил к концу, гости разбредались, официант Арнольд собирал приборы на специальный поднос и нес на кухню, где посудомойка Клавдия Ивановна мыла каждую вилку, каждый ножик своими мягкими теплыми руками. Зина любила Клавдию Ивановну — они обе понимали, что такое чистота. Потом приборы вытирали полотенцем, клали на другое полотенце и гасили свет — до завтра.

В этот день все с самого начала пошло не так. Сперва официант Арнольд, сервируя стол, положил Зину не совсем так, как надо, — ближе к краю стола. Арнольд с утра бывал неточен в движениях, и Зина его за это терпеть не могла. Потом за Зинин стол пришли гости, и это были два немолодых человека. Зине гораздо больше нравилось, когда к ней за стол садились пары — это было так романтично, а Зина в глубине души была неисправимым романтиком. Да-да, такое бывает: снаружи человек строг и черств и главнее всего для него порядок, а внутри — романтик, ничего не поделаешь.

Гости пили виски, вполголоса говорили о делах, и Зина приготовилась скучать. И когда уже подходила ее очередь работать — вот-вот должны были подать горячее, — вдруг случилось непоправимое: гость неловко провел локтем по скатерти и Зина полетела под стол! Она ударилась об пол и зазвенела изо всех сил — я здесь, я здесь! И гость уже принялся было неловко шарить рукой под столом вслепую. Но тут Зина услышала голос подлеца Арнольда: «Ах, не беспокойтесь ради бога, — я сейчас принесу новую!» «Дама придет!» — сказал второй гость и все трое засмеялись.

А Зина лежала на полу, стиснув зубья, и думала, что вот так теперь она будет лежать и лежать до самой ночи, и никто про нее не вспомнит, и не заметят, и в конце концов выметут вместе с мусором и выбросят на помойку. Конечно, такого случиться не могло — очень трудно вымести вилку вместе с мусором, но ведь приятно иногда пожалеть себя, правда?

«Боже мой, Катерина, это ты? Откуда ты здесь?» — услышала Зина голос одного из гостей. «А я прилетела. Только вчера! Вот уж не ожидала тебя встретить!» — ответил милый женский голос.

Засуетился Арнольд, пододвигая к столу еще одно кресло, и Зина увидела совсем рядом с собой маленькие лакированные женские туфельки. «Ну как ты живешь? Что тебе налить? Закажешь что-нибудь? Официант! Коля, познакомься, это Катерина!» — Голос гостя было просто не узнать.

А потом прошел час, и еще полчаса, и давно ушел, попрощавшись, Коля, и ресторан опустел, и Арнольд уже несколько раз проходил мимо стола, специально покашливая, а эти двое все говорили и говорили, и никак не могли наговориться. А вилка Зина лежала под столом. Она лежала и улыбалась. И ей почему-то совсем не было грустно.

Гитара

Гитара не очень хорошо помнила, как она появилась на свет. Сначала из тонкой еловой дощечки вырезали форму ее тела с отверстием посередине — это называлось «дека», потом к деке приклеили гнутые деревянные борта — это называлось «обичайка», потом мастер соединил корпус с длинной шеей — шея называлась «гриф», и все это еще не было гитарой. Потом в грифе проделали щелочки и аккуратно вставили в них серебряные поперечинки — это называлось «лады». На головку грифа шурупами прикрутили хитрую машинку с зубчатыми колесиками и красивыми крантиками — это называлось «колки». Потом к корпусу приклеили темную планочку с отверстиями — «порожек», и покрыли корпус прозрачным пахучим лаком. Потом гитара долго висела, подвешенная за гриф, вместе с такими же, как она, и сохла — нет, она и тут еще не была гитарой. И вот настал день, когда мастер взял ее в руки, ловко продел струны в отверстия на порожке, закрутил колки, струны туго натянулись, мастер провел по ним рукой, и вдруг гитара задрожала и запела в ответ! Это было так прекрасно и так неожиданно! Да, именно в этот момент гитара стала гитарой — отсюда началась ее жизнь.

Потом гитара висела на стене в музыкальном магазине. Она была совсем не самая дорогая, поэтому висела в самом низу — верхние ряды занимали сверкающие перламутром надменные красавицы. Гитара не сильно переживала на этот счет. «И чего они задирают нос, как будто на них по двадцать струн? Струн у нас у всех по шесть, и нечего тут задаваться!» — так она размышляла. И конечно, была права.

Однажды в магазин пришел мальчик. На вид ему было лет двенадцать. Он был невысокого роста — прилавок доходил ему до подбородка. Мальчик положил подбородок на прилавок и долго смотрел на гитару — она висела прямо напротив. Он стоял и стоял, пока продавец не спросил, что ему нужно. Тогда он молча развернулся и вышел на улицу, и гитара подумала, что она его больше не увидит, но на следующий день мальчик вернулся с папой. Папа повздыхал, покряхтел, полез в карман за бумажником, продавец снял гитару со стены и уложил в картонную коробку. Потом они ехали куда-то втроем и гитара думала, что вот у нее наконец появился хозяин. Она была рада любому хозяину — ведь до этого у нее вообще никого не было.

Оказалось, что мальчик совсем не умеет играть на гитаре. Но он так хотел научиться, что не выпускал ее из рук. Он подходил с ней к зеркалу — ему нравилось, как они смотрятся вдвоем. Он

украдкой нюхал ее — ему кружил голову запах сухого дерева и лака. Ночью он брал гитару с собой в постель и всегда держал руку у нее на талии. И гитара не могла не ответить на такую любовь. Пальцы у мальчика были тоненькие, непослушные, от жестких струн на них появились мозоли — мальчик не замечал. Он снова и снова зажимал на грифе три аккорда, которые уже успел выучить. Гитара помогала ему из всех сил. Как нам помогают гитары? Мы этого не знаем. Мы просто говорим: эта гитара удобная, прямо по руке, а эта — никуда не годится. Так мы говорим.

А через полгода мальчик уже что-то напевал себе под нос и уже не смотрел на гриф перед тем, как поменять аккорд, а еще через полгода вокруг них уже собиралась компания, и мальчик пел, а гитара играла, и девочки смотрели на них неожиданно задумчивыми глазами. Конечно, смотрели они на мальчика, но гитаре казалось — на них обоих. «Мы — одно целое!» — с гордостью думала она. Так она думала.

Мальчик быстро рос, и гитара становилась все меньше и меньше — когда каждый день вместе, этого не замечаешь. И вот однажды он прибежал домой возбужденный и счастливый. В руке он держал длинный черный чемодан. Даже не сняв пальто, он раскрыл чемодан и оттуда ощерилась, сверкая черным лаком и хромом, электрогитара. Электрогитара была плоская, с острыми рогами и напоминала то ли космический истребитель, то ли хищную рыбу.

Мальчик осторожно вынул электрогитару из чехла, тихонько побренькал по струнам — сверкающая гадина отвечала ему шепотом, ничего не было слышно, и гитара даже успела подумать, — надо же, все в красоту ушло! Но мальчик размотал какой-то провод, воткнул его в тумбочку, стоявшую в углу, на тумбочке загорелась красная лампочка, и вдруг комната наполнилась невероятными, оглушительными звуками! Электрогитара ревела самолетом, пела скрипкой, звенела колоколами! Конечно, звуки издавала не она, а тумбочка с красной лампочкой — она называлась «усилитель», но вид у этой самодовольной дуры был такой, как будто усилитель тут вообще ни при чем. Мальчик не выпускал ее из рук несколько дней.

Гитара очень расстроилась. Когда гитару перестают брать в руки, она всегда расстраивается. Нет, мальчик еще вспоминал про нее, настраивал, рассеянно брал несколько аккордов и ставил в угол. И гитара снова расстраивалась. А потом мальчик со своей электрической подругой стал надолго исчезать из дома, это называлось «гастроли». Что оставалось делать? Считать дни.

Однажды после гастролей у мальчика собрались гости —

такое теперь часто случалось. Мальчик был уже совсем не мальчик — мальчиком он оставался только для гитары, пылившейся в углу. Она сильно постарела, лак на ее деке пошел мелкими трещинками, время для нее остановилось. Гости, как обычно, пили вино, громко разговаривали.

Гитара не прислушивалась к их разговорам — выпив, гости всегда говорили одновременно, и что-то понять все равно было невозможно. Вдруг чья-то рука взяла гитару за гриф, вытащила на свет. Незнакомый парень сдул с нее пыль, пощипал расстроенные струны. «Да забирай на здоровье!» — услышала она голос мальчика. А потом она ехала на заднем сиденье в темной машине неизвестно к кому неизвестно куда. «Ну и пусть!» — думала гитара. А что она могла еще думать?

В новом доме гитару повесили на стену — слева и справа от нее висели то ли фотографии, то ли картины в рамах — попробуйте, вися на стене, разглядеть, что там висит справа и слева от вас. Поверьте мне, это совершенно невозможно. Играть на гитаре никто не собирался. Иногда уборщица, наводя порядок в доме, отряхивала ее палочкой с пушистыми перьями на конце. Это было щекотно, но не более того. Теперь гитара почти все время спала — происходящее вокруг ей было неинтересно. Просыпалась она только когда новый хозяин, пробегая мимо, наугад проводил пальцами по ее струнам. От этого она всегда вздрагивала, а потом засыпала вновь. Что ей тогда снилось? И сколько прошло лет — двадцать, тридцать? Мы не знаем.

«Да не может быть! Ты шутишь? Это действительно она? Да, смотри-ка, это она…» Гитара с трудом открыла глаза — на нее смотрел ее мальчик. Лицо его покрылось морщинами, волосы поседели, но гитара узнала бы его из тысячи седых мужчин. Рядом с ним стояла немолодая красивая женщина и держала за руку — а вот она держала за руку того самого мальчика, который много лет назад увидел гитару в музыкальном магазине. Сзади довольно улыбался хозяин дома.

«Можно?» И гитара почувствовала, как знакомые руки снимают ее со стены, осторожно подтягивают колки, как родные пальцы касаются струн.

И она запела в ответ.

Глафира

Глафира была не обычной машиной. Нет, она была очень дорогой машиной самой-самой последней модели — обычную машину Глафирой не назовут: все больше Лены, Зины, Вали. Глафира стояла не где-нибудь на улице, а в главном зале роскошного автомагазина, и видела, как в витрине справа от нее светится и мигает рекламный щит с ее, глафириным, изображением почти в натуральную величину. Глафира ждала своего принца.

Принц Глафире сразу понравился: он без всяких разговоров сел в салон, подвигал туда-сюда кресло, обтянутое кремовой кожей, потрогал руль, зачем-то включил радио, сказал «Тэ-экс», вышел и направился в сторону кассы. Он не задавал лишних вопросов менеджеру по продажам, который стоял, услужливо склонясь, у капота, и не торговался. «Настоящий принц!» — решила Глафира.

Никогда еще Глафире не было так хорошо. Хотя где ей могло быть хорошо? На заводе, где ее собирали, свинчивали, красили и сушили? Или на тестовом стенде, где ее трясли, дергали и вообще пытались сделать больно? Ей не было так хорошо даже в магазине, хотя многие считают, что ожидание счастья приятней самого счастья. Принц (его звали Альберт) водил машину превосходно: быстро, но мягко, и они оба получали одинаковое удовольствие от езды. Жила Глафира в теплом чистом гараже, и каждое утро ее мыл молчаливый человек с неприметным лицом в черном комбинезоне. Ездили они в основном по банкам — красивым высоким зданиям, где на стоянках рядом с Глафирой ждали своих хозяев такие же дорогие ухоженные машины — Альбины, Снежаны, Виолетты.

Вечерами Альберт с Глафирой отправлялись в очередной ресторан. Иногда по дороге они заезжали за девушками. Девушки не нравились Глафире: все они были какие-то одинаковые, расфуфыренные, длинные и дохлые. Они зазывно хохотали, очень хотели понравиться Альберту и от них невыносимо разило духами. Они искололи своими острыми шпильками весь Глафирин коврик. Одна из них, хохоча, уронила тюбик губной помады под сиденье. Мстительная Глафира закатила помаду в самый дальний угол, чтобы ни за что не достать. Там она и осталась — навсегда.

Раз в четыре месяца Альберт привозил Глафиру в специальный центр, где ей устраивали внимательный осмотр: подтягивали все гаечки (было щекотно и немножко больно),

меняли старое масло на новое (а вот это было очень приятно), натирали ее специальным воском и полировали. И когда Глафира медленно выезжала из ворот центра, сверкая всеми своими боками, стоящие в очереди машины провожали ее завистливыми фарами.

Шли годы. Это такая обязательная фраза, если ты рассказываешь историю. На самом деле прошло всего два года. Какое там прошло — пролетело! Счастье умеет торопить время. И однажды Глафира увидела, что Альберт притормозил у того самого салона, где они познакомились два года назад, и внимательно рассматривает витрину. В витрине уже не было плаката с глафириным портретом — там стояла новая машина. Она была очень похожа на Глафиру — и осанкой, и разрезом глаз, и даже цветом — просто она была моложе. Она была настолько невозможно молода, что Глафира зажмурилась от горя. Ее возлюбленный, ее принц, совершенно не стесняясь ее, таращился на эту юную красавицу, и Глафира видела, как она ему нравится! Это был конец.

Два дня Глафира не находила себе места. Нет, она продолжала вести себя безупречно — воспитание не позволяло закатить Альберту истерику. Но жить так больше было нельзя. И к концу второго дня Глафира решила: лучше покончить со всем разом — и с собой, и с ним. И по дороге домой она, выбрав на асфальте ямку побольше, специально въехала в нее колесом и изо всех сил рванула руль вправо. «Прощай, жизнь!» — успела подумать она, как и положено думать в таких случаях.

Конечно, ничего у нее не получилось — как ни верти, а машинами управляют люди. Альберт даже не понял, что произошло: руль чуть-чуть вильнул в сторону, ямка и ямка. Он вообще в это время думал совершенно о другом.

А еще через пару дней он привез Глафиру в тот самый салон, где когда-то началась их любовь, выгреб бумажки из бардачка, забрал из багажника спортивную сумку и ушел, не попрощавшись. Глафира, по счастью, стояла спиной к двери и не видела, как он выезжал из магазина на молодой красотке, и эту дуру распирало от радости.

А потом Глафиру вымыли снаружи и изнутри, наклеили на лобовое стекло листок с ценой и выкатили во двор, где уже стояли такие же, с бумажками на лбу, брошенные Анжелики и Снежаны, хмурые и не склонные заводить беседу.

А еще через три дня Глафиру купил лысоватый полненький человек. Звали его Николай Иванович, и он совсем не был похож ни на Альберта, ни на принца вообще. Прошло несколько дней, и Глафира убедила себя, что Николай Иванович — тоже, скорее

всего, принц, просто не такой явный. Иначе ведь и быть не может, верно?

А еще через неделю она поняла, что он ей почти нравится.

Сказка про деревянную палочку

Знаете, как называется завод, где делают всякого рода палочки? Палочковый завод! Нет, конечно, в каких-нибудь серьезных документах он числится как «Деревообрабатывающий комбинат номер такой-то дробь такой-то по изготовлению палок и палочек для нужд населения», но кто же так говорит? Так вот, дело было на палочковом заводе.

Множество палок и палочек собралось на складе готовой продукции. Все они были новенькие, пахнущие кто свежим деревом, кто лаком, и всем им не терпелось познакомиться друг с другом. «Мы — палочки для еды! — кричали палочки для еды. — Мы всегда вдвоем — одна и другая! Нас повезут в китайский ресторан! А может быть даже в японский!»

«А мы — барабанные палочки! — кричали барабанные палочки. — Нас тоже всегда две — для правой и для левой руки! Нами будут выбивать дробь по тугой барабанной коже, под эту дробь станут маршировать роты, поднимать знамена и расстреливать врагов!»

«А нас вообще сто штук! — кричали счетные палочки. — Мы будем учить детей считать! Да, мы маленькие, одинаковые и по отдельности никому не нужные, зато вместе делаем важное общее дело!»

И только одна палочка молчала. Именно потому, что была одна. Сначала она даже думала, что произошла какая-то ошибка, и вот сейчас принесут и положат рядом вторую такую же, и сразу станет ясно, для чего их произвели на свет, но ничего такого не происходило. Тогда палочка внимательно осмотрела себя и пришла к выводу, что выглядит она довольно неважно — тоненькая, хлипкая, некрашенная. Что такой можно делать? Кому она такая нужна?

«Простите, — еле слышно обратилась палочка к палочкам для еды. — Вы случайно не знаете, зачем я?» — «Вы? А почему вы, собственно, одна?» — вытаращились на нее палочки для еды.

«Не знаю», — еще тише ответила палочка.

«Впрочем, будь вас даже две — ваше назначение непонятно. Для еды вы тонковаты и, извините, недостаточно празднично выглядите. Вы, очевидно, ошибка производства!» — постановили палочки для еды и дружно отвернулись.

А потом палочку положили в узкую черную коробочку. Внутри коробочка была покрыта малиновым бархатом и очень напоминала палочкин гроб. «Вот и жизнь прошла», — успела подумать палочка, и наступила темнота.

И вот однажды коробочка вдруг открылась, палочка ощутила себя в чьей-то руке и взлетела вверх. Огромное пространство было залито ярким светом, и до самого горизонта (так ей показалось) перед палочкой громоздились музыкальные инструменты. Но не это было самое удивительное. Самое удивительное — что вдруг наступила тишина. Полная тишина. И палочка увидела, что все смотрят на нее и ждут ее команды.

А потом палочка опустилась вниз, снова взлетела вверх, и началось волшебство! Ударили литавры, грянули золотые тромбоны и валторны, заговорили контрабасы. Палочка шла вправо — и послушно начинали петь скрипки, им вторили альты и виолончели, она летела влево — и взрывался, рассыпался хрустальными брызгами рояль, она опускалась вниз — и музыка стихала до шепота, до еле слышного шелеста, она начинала свой путь вверх — и оркестр набирал силу, дышал глубже, и мелодия вновь росла, заполняя зал, и никто — никто! — не отрывал от палочки напряженных и влюбленных глаз.

А потом палочке долго аплодировали, а она кланялась и смущенно оглядывалась на оркестр: «Это не я, это все они!» «Нет-нет, это ты!» — улыбались ей инструменты. А потом палочка ехала куда-то во внутреннем кармане фрака дирижера и все никак не могла успокоиться — счастье не уходило, не покидало ее. Да, это было настоящее счастье.

Выходит, не все на свете делается сообща. Бывает и в одиночку.

Сказка про то, что самое главное

Вы напрасно думаете, что, когда все уходят из комнаты, гасят в ней свет и закрывают дверь, в ней ничего не происходит. Как раз наоборот — в ней происходят самые интересные вещи! Просто вы этого никогда не увидите.

Художник очень не любил, когда ему говорили, что у него в мастерской страшный беспорядок. «А что такое, по вашему, порядок?» — спрашивал он. И сам отвечал: «Порядок — это когда я совершенно точно знаю, где что у меня лежит!» А он и вправду знал и мог не глядя выхватить из кучи предметов на рабочем столе нужную кисточку, тюбик с нужной краской.

Художник приходил в мастерскую около полудня — он не любил рано вставать. Приходя, он прямо в пальто плюхался в кресло и, сидя неподвижно, долго смотрел в одну точку. Точка эта могла располагаться на недописанной картине, а могла быть и совершенно в другом месте — бог его знает, о чем художник в это время думал. Потом он вздыхал, поднимался, снимал пальто, надевал заляпанный красками халат, включал старенький кассетный магнитофон, наливал себе полстаканчика вина и уходил в работу.

Работал художник до позднего вечера. Потом он допивал вино, надевал пальто, еще некоторое время смотрел на незаконченный холст, бормоча что-то себе под нос, выключал магнитофон, мыл кисти, гасил свет и уходил — до завтра.

И начиналось! Сотни вещей, живших в мастерской, любили хозяина — каждая по-своему. Поэтому каждой хотелось думать, что она у хозяина самая главная. Любовь, как ни верти, требует взаимности.

«Это все мы, мы! — кричали краски, стараясь перекричать друг друга. — Без нас бы он не написал ни одной картины! Мы — его голос, его чувства, его шепот и крик!» — «Ну конечно! — отвечал им холст. — Да если бы я не терпел вас на своей безупречной поверхности — где бы вы были, кто бы вас увидел? Выставка произведений в тюбиках? Или на палитре? Недаром картину называют „Холст“ а не „Краски“!»

«Ах, как мило! — возмущалась кисть. — Конечно, можно размазывать краску по холсту пальцами, говорят, это сейчас даже модно, однако наш хозяин работал и работает кистью!».

«Не мешало бы вам знать, — говорил карандаш, — что все начинается с эскиза. А эскиз возникает, когда хозяин берет в руку меня!» «Нет, дорогие мои, — вздыхала бутылка, в которой еще совсем недавно оставалось вино. — Если бы не я, хозяин бы и не

подошел к мольберту, не взял бы вас, краски, вас, кисть, не натянул на подрамник вас, уважаемый холст. Без меня он печален, неуверен в себе и сомневается, что его картины вообще могут быть кому-то интересны». — «А я, а я? — подпрыгивал, дребезжа, старый магнитофон. — Вы когда-нибудь видели, чтобы он рисовал без музыки, в тишине? Живопись — это застывшая музыка!»

«Ах, какие мы все умные! — улыбалась рамочка с фотографией темноволосой женщины. Рамочка стояла на самой верхней полке для книг, поэтому улыбалась свысока. — Неужели вы думаете, что если бы не было здесь меня, если бы он не смотрел на меня каждое утро, если бы не было у него в жизни его единственной несчастной любви, он бы нарисовал что-нибудь стоящее? Да он бы вообще не взялся за кисть! Разве вы не видите, что всю свою жизнь он рисовал и рисует только ее одну — фотографию которой храню для него я!»

И только старые часы на стене молчали. Они-то отлично знали, кто тут самый главный. Поэтому они никогда не вступали в спор и только тихонько тикали, отмеряя время: тик-так, тик-так…

Сказка про сардинку

Сардинку звали Лида. Всю свою молодую жизнь, сколько себя помнила, она носилась в огромной стае сардин по бескрайнему синему океану. Все в стае были точно такие же, как Лида, — юные, стройные, серебристые, очень похожие друг на друга. Лида и имен-то многих подруг не знала — это вон Зойка, дальше — Надя, а дальше — неизвестно, да и как отличишь? А это и не мешало — они вместе весело щебетали о чем угодно и хохотали без причины. Иногда стая вдруг разворачивалась на месте и неслась в другом направлении — все как одна.

Лида не могла понять, как это происходит, — в стае не было никакого вожака, никто не отдавал команды, просто вдруг р-раз — и все повернули. В конце концов Лида перестала об этом думать. В самом деле — когда ты бежишь, ты же не командуешь ногам: «Левой-правой, левой-правой!» — они сами. Бежишь, и ладно.

Наступило лето, и стая сардин вместе с другими такими же стаями двинулась к югу, к побережью Восточной Африки — на нерест. Лида понятия не имела о том, что такое нерест, да похоже, никто не знал, но говорили об этом радостно и с благоговением. Вода с каждым днем становилась теплее и теплее, на горизонте показались черные скалы и оранжевые безлюдные пляжи — Африка.

Ничто не предвещало беды. Как вдруг! Вода над сардинками взорвалась, закипела! Это были бакланы — большие белые птицы. Сложив крылья, они, как снаряды, пробивали поверхность океана, влетали в самую середину стаи и длинными острыми клювами хватали сразу по несколько сардинок. Лида с подругами бросилась вниз, но оттуда на них уже надвигалась здоровенная акула с широко раскрытой пастью, а за ней еще и еще! Акула ни в кого особенно не целилась — стая была такой плотной, что от нее можно было откусывать, как от огромного бутерброда. Мало того — она становилась все плотней и плотней, пока не сбилась в бешено крутящийся шар — снизу его поджимали акулы, сверху падающие бакланы, а вокруг, нехорошо улыбаясь, носились стремительные дельфины. Впрочем скорее всего они не улыбались — просто у дельфина так устроено лицо. Вообще, улыбка — довольно обманчивая вещь.

Сбоку медленно подплыл невероятных размеров кит — уж от него-то Лида никогда ничего плохого не ожидала — раскрыл свою бездонную усатую пасть, вдохнул — и сардиний шар превратился в шарик, стал меньше в два раза!

Лида первая поняла, что надо делать. «Врассыпную! — громко закричала она. — Все врассыпную! В разные стороны!» «Нет-нет, только вместе! — бормотали сардинки, задыхаясь от собственного вращения. — Мы всегда вместе! По-другому нельзя! Ты что?! Нельзя-нельзя!»

И тогда Лида изо всех сил рванулась в сторону, и вдруг оказалась одна — впервые в жизни. Это было очень странное ощущение: слева, справа, снизу, сверху — никого. Только где-то позади еще бурлила вода — там заканчивался акулий-дельфиний-бакланий пир. Тут и там в воде плавали чешуйки ее недавних подруг — они медленно, покачиваясь, опускались в глубину и гасли там, как серебряные звездочки. Еще несколько минут — и океан снова был безмятежен, прозрачен и спокоен.

Поначалу Лиде было неуютно без родной стаи — она чувствовала себя раздетой. Но скоро заметила, что в одиночку она никого не интересует — и дельфины, и акулы, и тунцы гонялись за сардиньими стаями — одна она была для них слишком мала, да еще попробуй поймай, а бакланы со своей высоты просто не могли разглядеть в воде одинокую темную Лидину спинку. Она некоторое время скучала по веселой болтовне с подружками, но как ни старалась, не могла вспомнить, о чем они говорили: обычно все наперебой повторяли одну и туже фразу. «Мы плывем к югу!» — вдруг восклицал кто-то, и все радостно соглашались: «Да-да, мы все плывем к югу! На юге тепло!» «Да-да, нам там будет тепло!» — кричала Лида вместе со всеми. Ничего более содержательного на память ей не пришло, и Лида решила, что без таких разговоров в жизни вполне можно обойтись.

А на следующий день она встретила такую же одинокую сардинку, плывущую в том же направлении. У сардинки был поцарапан бок — баклан так и не смог ее схватить. К удивлению Лиды, сардинку звали не Катя, не Лена, не Зина, а Коля, и дальше они поплыли вместе.

А потом был нерест — Лида уже догадалась, что это он и есть, и она наметала десять… нет, сто тысяч прозрачных золотых икринок, из которых скоро должны будут появиться на свет новые крохотные сардинки, и Коля носился вокруг, переживал, помогал Лиде как мог и вообще устал гораздо больше, чем она. А наутро Лида попрощалась с милым Колей, с опасными берегами Африки и уже совершенно спокойно поплыла в сторону открытого океана.

Она плыла и чему-то улыбалась.

Сказка про пятый палец

С утра пальцы были построены по команде. Большой палец (никакой он не был большой — наоборот, маленький и толстый, просто всегда командовал) объявил: «Настали трудные времена! Пришло время сжаться в единый кулак! Мы идем драться!» «Да-да,» — забормотали пальцы, — «все как один!», послушно согнулись в поясе и прижались друг к другу. И только Мизинец не пошевелился — он удивленно спросил: «А с кем мы идем драться? На нас что, напали?» «Как с кем? С этими, как его — с фашистами! Немедленно согнуться!» — скомандовал Большой. «Не согнусь», — тихо произнес Мизинец. «Ты что — пятая колонна? — грозно пошутил Большой палец. Он любил грозно пошутить. — А ну согнуться в строй!» «Не согнусь», — еще тише ответил Мизинец. Так они и стояли напротив друг друга, а между ними плотно сжались, согнувшись, остальные три пальца. И вдруг до них донеслось: «Привет! Вы что, не идете нас бить? Тогда и вам привет!» «Какой еще привет?» — произнес оторопевший Большой палец. Мизинец тоже оторопел, хотя ничего не произнес. А остальные пальцы даже ничего не услышали — когда ты согнут и сжат, ты ничего не слышишь и ничего не соображаешь. «Но вы же нам показываете привет! Когда мы приветствуем друг друга, мы всегда так складываем пальцы! Алоха!»

А «Алоха» — это и есть «Привет». Не по-фашистски, нет. По-гавайски.

Сказка про одну щуку

Жила-была одна щука.

Это такая специальная фраза, чтобы начать рассказ. Например — жила-была одна баба. И вы уже приготовились слушать.

Но в нашем случае все это не совсем так. Потому что щука действительно жила-была совершенно одна. Это притом что в речке Клязьма, где происходило дело, никто в одиночку не жил — лещ с лещихой, окунь с окунихой, судак — со сварливой судачихой. Ничего себе жили, не жаловались.

«Голубушка, — говорили щуке, когда вечерами все рыбы собирались вместе пить чай. — ора бы тебе остепениться. Вдвоем и веселей, и приличней как-то. Глядишь — и щурята пойдут! Что ты, в самом деле, все одна да одна? Мы, конечно, понимаем, что щуки живут до ста лет и даже дольше, но все-таки молодость проходит, как ни верти! Вон, к примеру, карась! Кто он, спрашивается, был еще вчера? Ноль без палочки, мелкое сорное явление! А теперь, рядом с карасихой? Солидный гражданин, ячейка общества, отец семейства! И всем он понятен, и все его уважают! А ты? Ни семьи, ни кола, ни двора. И все где-то ходишь! Может, ты индивидуалистка? Где ты там одна ходишь?» — так ей говорили.

А щука улыбалась в ответ, пила чай и молчала. Потому что ни одной на свете рыбе она не могла раскрыть свою страшную секретную тайну. А раскрыла бы — ей бы все равно никто не поверил.

Дело в том, что это была не простая, а волшебная щука.

Она исполняла три заветных желания. Причем не рыбам, а людям. Уже много лет подряд.

Это было очень тяжело и даже опасно. Сначала следовало добиться того, чтобы тебя поймали. А рыбаки с годами становились все менее умелыми и терпеливыми, поэтому добиться того, чтобы тебя поймали, было непросто. И потом — это ведь очень больно и страшно, когда в губу наконец впивается железный крючок, и тебя выдергивают из родной речки на жгучий непривычный воздух. Дальше надо было сделать так, чтобы рыбак тебя услышал. Это тоже непростое дело — голос у щуки совсем тихий, и если рыбак в этот момент шумно радуется улову, или из приемника на ветке играет «Русское радио», или он, скажем, выпил (а кто ж на рыбалке — и не выпил?) — он может ничего не понять: щука и щука. Пару раз щука чуть не погибла, и ей приходилось кричать изо всех сил, чтобы рыбак ее наконец

услышал. Такому бестолковому, нечуткому человеку исполнять три его желания не было никакой радости, да и желания у таких людей, как правило, оказывались дурацкие. Но тут уж щука ничего не могла поделать — работай и не умничай.

А потом все уже было не так сложно: ошалевший от счастья рыбак загадывал три своих желания (некоторых щуке приходилось торопить — они принимались отчаянно думать, а щука не может дышать на воздухе вечно), и щука плюхалась в воду. Отпускали по-разному: кто светясь от радости, кто — недоверчиво. Но — отпускали.

А дальше — совсем просто: оставалось всего-навсего исполнить три желания.

Но ведь когда ты точно знаешь, что надо делать, то это совсем не сложно, правда?

Шампанское

Не только люди обожают спорить о достоинствах вин. Сами вина спорят о собственных достоинствах с еще большей охотой. Особенно если это выдержанные, дорогие, или, как сейчас принято говорить, элитные вина. Того и гляди, какое-нибудь «Шато Ла Тур» сцепится с каким-нибудь «Масетто». Понятное дело — самомнение растет с возрастом, а иногда и опережает его. Поэтому к столу под каждое вино подают отдельный бокал — не дай бог. Бывали случаи, вина устраивали скандал даже внутри выпившего их человека, но мы сейчас не об этом. Если вина разного сорта оказались в одном погребе или на одном складе, — поверьте, скучно не будет.

А в этот раз на складе собралось множество бутылок с винами со всего мира — дело шло к праздникам. И шум поэтому стоял страшный. Окажись бутылки на одной полке — они бы наверняка переколотили друг друга. Но каждый сорт предусмотрительно поставили на свою полку — поди дотянись. Оставалось кричать и спорить.

И только одна бутылка улыбаясь, молчала. Это была бутылка шампанского. Уж она-то точно знала, что вино, хранимое ею, — вино всех вин, королевский напиток праздника и любви, и уж тут-то никто спорить не будет: любое вино можно пить по какому угодно поводу и даже без повода, а шампанское — это всегда праздник. На поминки, заметьте, шампанское не подают. Недаром оно не томилось в общей душной бочке, а дозревало и набиралось силы в своей собственной бутылке, рядом с такими же красавицами, и специальные люди то и дело слегка поворачивали их, смотрели на свет, следили за температурой и вообще выказывали всяческое уважение. А когда на голову бутылке надели витую металлическую корону, а сверху украсили ее золотой фольгой, все стало окончательно ясно: она — избранная. Именно ей суждено подарить небывалый праздник счастья людям. Оставалось просто ждать. Это было несложно — вина умеют ждать. Они делаются от ожидания только лучше.

И вот в один прекрасный день бутылку шампанского вместе с несколькими другими, вдруг притихшими бутылками, аккуратно сложили в ящик, наполненный соломой, и все они куда-то поехали. По дороге ящик поведал, что им страшно повезло: их везут в ресторан — очень дорогой и очень известный. Бутылка шампанского почти не волновалась — все шло по плану. Судя по тому, что по приезде в ресторан ее поставили в холодильник, она поняла: скоро! Она чувствовала, как шампанское внутри нее

замирает и пружинится, готовясь к выходу на сцену. Знаете, как медленно тянутся у бутылок последние часы перед самым главным? Точно так же, как у людей!

И вот наконец настал вечер, в зале ресторана зажглись огни, тихо зазвучала музыка. Бутылка шампанского представляла себе, как сейчас за столами рассаживаются красиво одетые господа и дамы, улыбаются друг другу, здороваются, целуют друг друга, шутят, листают меню. Она даже чуть-чуть подпрыгивала от нетерпения, а за ней все не шли и не шли! Холодильник то и дело открывался, и чьи-то быстрые руки выхватывали из него то бутылку минеральной воды, то блюдечко с маслом. Не то, не то! И вот, когда надежда уже почти умерла, дверь холодильника распахнулась как-то особенно торжественно, рука в белой перчатке нежно обняла бутылку шампанского за горлышко, и через мгновение она увидела себя стоящей на серебряном подносе рядом с двумя тонкими бокалами. А потом поднос медленно поплыл через горящий огнями зал, и бутылка чувствовала, как все гости ресторана провожают ее восхищенными взглядами. А потом официант остановился у маленького столика, за которым сидели двое: молодой человек в изящном костюме и необыкновенной красоты дама в строгом вечернем платье. В руке молодой человек держал маленькую коробочку, коробочка была открыта и в ней сверкало колечко с бриллиантом. «Вот это да! — успела подумать бутылка. — Он предлагает ей руку и сердце!» В этот момент официант ловким движением ослабил корону на ее голове, и шампанское выстрелило вверх волшебным салютом! «Поздравляем, поздравляем!» — кричало шампанское всеми своими пузырьками. «Счастья вам! — беззвучно кричала бутылка. — Счастья вам и любви!»

«Ты же знаешь, я не люблю шампанское!» — нахмурилась дама.

«Но по случаю…» — начал было молодой человек.

«Терпеть его не могу! — отрезала дама. — С детства».

«Ну хорошо, что тебе заказать?» — молодой человек, кажется, совсем не расстроился.

А бутылку шампанского поставили в ведерко со льдом. Лед медленно таял, и бутылка чувствовала, как с последними пузырьками из нее уходит жизнь. А потом молодой человек увел свою капризную даму, разошлись остальные гости, ресторан опустел, официанты, громко переговариваясь, убирали со столов грязную посуду, уборщица мыла пол и ставила стулья на столы ножками вверх. Один официант уже без всякого уважения ухватил бутылку шампанского за горлышко и унес на кухню. Там он

отхлебнул из этого самого горлышка, скривился и вылил умершее вино в мойку с объедками.

Про Новый год

Новый год в этот раз совсем не хотел наступать. Бывало такое настроение и раньше, но он всегда старался взять себя в руки и найти причину хандры. И это оказывалось несложно: например, неновогодняя погода. Ну в самом деле, какие тут хороводы вокруг елки и катание с гор, когда за окном плюс три, слякоть, все растаяло и похолодания не ожидается. В первый раз ему удалось уговорить себя, а потом и погода такая постепенно стала нормой — и ничего, привыкли.

Но сегодня просто все валилось из рук. Ведь главная обязанность любого Нового года, кроме того чтобы не опоздать и наступить ровно в полночь, — вселить в граждан уверенность в том, что он, Новый год, будет лучше уходящего. А для этого надо иметь эту уверенность самому. Вот в этот раз с уверенностью было плохо. То есть она отсутствовала напрочь. В мире творилось черт знает что: кризисы, ссоры, санкции, войны, висящие на волоске… Все это выглядело очень непраздничнo и, главное, никуда не собиралось деваться первого января. Как вели себя в этой ситуации коллеги по восточным странам, Новый год не знал — они почти не общались. Молча и торжественно проследовал мимо старший товарищ — еврейский Новый год. Наступил. Как будто все в порядке!

Ну, они и не такое видали.

В общем, после долгих раздумий Новый год решил не наступать. Взять и отменить наступление. Отложить до лучших времен. Ну раз он не в силах справиться со своей главной задачей. Он бродил вечерами по центральным улицам Москвы — вроде все как перед любым Новым годом: дурацкая иллюминация, бесконечные пробки, очереди и толкотня в магазинах, всеобщее возбуждение, которое могло показаться радостным, но он заглядывал в людей и видел, что почти все они стали внутри маленькими, злыми, озабоченными и колючими — и пытаются этим веселым возбуждением спастись от собственных мыслей. Возбуждение у них получалось легко, а вот веселье выходило ненастоящим, как у плохого массовика-затейника. Может быть, Новый год видел это лучше, чем сами люди. Люди, как правило, ни черта не видят. И смотреть на это было тяжело.

Неизвестно, каким образом информация о решении Нового года просочилась наружу — он ни с кем не разговаривал на эту тему, да и с кем ему разговаривать вообще? Но сегодняшний уровень распространения информации таков, что и говорить-то ни с кем не надо: подумал — и раз! Все уже обсуждают. А иногда

даже не подумал, собирался только, а они уже написали, причем совсем не то, что ты собирался подумать.

Газета «Коммерсантъ» украсила первую страницу хлестким заголовком «С отступающим вас!», по экранам телевизоров понеслись всевозможные токшоу — от «Новый год: быть или не быть?» до «Новый год — еще один друг хунты». Утром тридцать первого декабря Новому году позвонили из администрации Президента и мягко, но убедительно попросили не раскачивать лодку. Несколько оробев (у него и телефона-то не было!), Новый год пробормотал, что обещает подумать, понимая, что врет: решение уже было принято.

А вечером тридцать первого на улицах стало пусто. Вообще-то в это время на улицах тридцать первого всегда становилось пусто, но сегодня было пусто как-то по-особенному — нехорошо. Люди по привычке собрались дома, накрыли столы, даже на всякий случай заготовили шампанское, включили телевизоры, где уже началась развеселая дребедень… Кое-где за столами уже налили по первой и теперь растерянно поглядывали друг на друга — за что пьем? Провожать старый? А уйдет, нет?

Новый год уже давно свернул с Тверской и шел теперь по каким-то старым переулкам — здесь было совсем тихо и безлюдно. Вдруг до него донеслось тихое всхлипывание — маленькая девочка сидела на скамейке у подъезда и почти беззвучно плакала. На ней была вязаная шапка с кошачьими ушками, лицо она спрятала в воротнике шубки и была похожа на замерзшего зверька семейства кошачьих. «Ты что плачешь? Что случилось?» — спросил Новый год, присев рядом. «Мама… говорит… Нового года не будет… а мне Дед Мороз обещал мобилку… розовую…» — с трудом разобрал он сквозь всхлипывания и сопли. Пару минут он еще сидел неподвижно, напитываясь безутешным девочкиным горем, затем вздохнул, зачем-то потрепал ее за кошачье ухо, встал и твердым шагом двинулся в сторону центра — наступать.

О КРАСОТЕ
(Стенограмма лекции)

Открытая лекция «О красоте»,

Санкт-Петербург, 7 ноября 2014 года

Стенограмма

А. МАКАРЕВИЧ: Давайте мы сделаем так. Я вообще-то не настоящий лектор. Но вопрос этот меня очень давно интересовал и интересует. Тем более потому, что я занимаюсь не только музыкой, но еще графикой. А еще иногда пишу стихи и какие-то книжки. В общем, все это к предмету имеет отношение самое непосредственное.

Я много раз убеждался, что бессмысленные споры возникают оттого, что люди изначально не определились в понятиях. Вот, если среди вас есть кто-то, кто коротко и четко скажет мне, что такое красота, я ему буду аплодировать стоя. Есть такой человек?

Слушательница: Есть!

А. МАКАРЕВИЧ: Нет, ну правда? Скажите.

Слушательница: Красота, по-моему, это…

А. МАКАРЕВИЧ: Тихо!

Слушательница: Что-то естественное, что заложено в человеке.

А. МАКАРЕВИЧ: Естественное…

Слушательница: Что заложено в человека богом.

А. МАКАРЕВИЧ: Но в человеке много чего заложено, вы знаете.

Слушательница: Богом. Душа, наверное. Что-то божественное.

А. МАКАРЕВИЧ: На самом деле, вы попали, с моей точки зрения, почти в десятку, потому что мое определение — не далеко от вашего ушло.

Я сначала полез в словари. И совершенно поразился, потому что в самых известных словарях это слово отсутствует вообще. Хотя, оно вообще-то часто употребляемое, скажем так.

Например, у Даля слова «красота» нет. У него есть «краса». Но краса — это понятно. Краса девичья, краса женская. То есть такое, узконаправленное.

У Ожегова красота — это то, что производит художественное впечатление. Глубоко копнул Ожегов, объяснил все, что мог.

Самое смешное в Большом энциклопедическом словаре. Оказывается, красота — это квантовое число, характеризующее андроны. Сохраняется в сильном электромагнитном поле и не сохраняется в слабом. То есть это какое-то десятое специальное значение слова «красота» в энциклопедическом словаре есть. А вот общепринятого — нету.

Тем не менее каждый сам для себя может сказать: «Вот это красиво, а это не красиво». Тут начинаются споры. Страшно интересно. Есть ли объективное в этом море субъективного?

Если вы войдете в любую сувенирную лавку в любом городе мира, у вас возникнет ощущение, что вся продукция делается на одном заводе, независимо от того, Италия это, Китай, Рим или Лондон. Это все сделано на одном уровне вкуса. И уровень этот чудовищно невысокий. Вот именно этот уровень вызывает большой общественный интерес и, соответственно, определяет потребление.

Конечно, мое собственное определение красоты очень субъективное. Вот, девушка сказала почти слово в слово: красота — это присутствие божественного в человеческом. Если человек считает себя атеистом и понятие «божественное» его не устраивает, давайте заменим это, наверное, словом «природа», потому что я не видел некрасивой природы. Я не знаю ни одного живого существа, которое было бы некрасивым. Опять же, если очень субъективно, то, возможно, это гиена. Но кому-то она нравится. Ни одной некрасивой рыбы, ни одной некрасивой птицы, ни одного некрасивого дерева. Я не могу себе представить, что кто-то, глядя на закат над морем, скажет, что это некрасиво.

Мне кажется, что, рождаясь, человек гораздо более открыт к восприятию мира, чем спустя уже несколько лет. Он как антенна настроен на любую волну. И дальше родители, потому что, все-таки, наверное, большую часть времени в этом возрасте ребенок проводит с родителями или должен проводить, во всяком случае, начинают ему объяснять устройство этого мира.

Девочка видит фей. Потом она рассказывает про фей маме, мама говорит: «Ты что, глупая, фей не существует». И девочка перестает их видеть.

Папа говорит мальчику: «Смотри, какие красивые картинки». А что он показывает в этот момент, мы не знаем. Это может быть детская книжка с прекрасными иллюстрациями Конашевича, а может быть что-то яркое и достаточно безобразное. Но именно в этот момент, от полутора до пяти лет, у человека формируется представление о мире вообще и о том, что такое красота в

частности. Чем дальше, тем сложнее его переубедить. А лет после 12, я думаю, это и вовсе невозможно, потому что дверцы уже закрылись, эти файлы заполнены, и представление у него костенеет.

Это очень печально, потому что чаще всего бывает, что родителей-то в детстве никто толком не научил понимать и видеть красоту. У меня есть товарищ, мой ровесник, прекрасный конструктор. И он очень любит группу «Ласковый май». Когда я пытаюсь ему объяснить, что это, мягко говоря, неприлично, он отвечает — а мне нравится! И диалог заканчивается.

Мне страшно повезло, потому что мой отец был замечательным художником. Он не реализовался как художник — его, по-моему, это не очень волновало. Он был архитектором и работал архитектором, и преподавал основы проектирования. Но рисовал постоянно. А поскольку мы жили в квартирке тесной, мы с ним делили одну комнату: я там спал, а он там рисовал. И все это происходило у меня на глазах. Это был прекрасный камертон вкуса. И он меня знакомил с тем, что такое искусство, очень ненавязчиво. Он садился рассматривать какой-то альбом, и мне становилось интересно. Я лез к нему на колени и начинал задавать вопросы.

Чуть позже, делая какой-то проект, он мне говорил: «Слушай, я не успеваю. Вот, возьми кисточку, помоги мне здесь закрасить». Он меня так вводил в профессию. А мне это не приходило в голову. Я был уверен, что папе надо помочь: и вот таким образом я учился.

Отец не мог провести некрасивую линию — вот это удивительное дело. У него бы не получилось. Сейчас я знаю такого художника. Их не много, на самом деле. Есть такой Саша Бродский, который учился со мной в Архитектурном. Он может быть каким угодно авангардистом, может заниматься сверхсовременным искусством, которое я не очень люблю (об этом мы поговорим позже), но он не может сделать некрасивую вещь. То есть какой-то ангел ему мешает сделать некрасиво.

Если попытаться разобраться, существует ли, все-таки, что-то объективное в представлении красоты, конечно, мы упремся в золотое сечение. Это соотношение, которое было открыто еще Евклидом в Древней Греции. Но распространил его на искусство, пожалуй, Леонардо, потому что оказалось, что эта пропорция присутствует в природе, в живой жизни повсюду. Это соотношение единицы к 1,618. В принципе это бесконечная прогрессия, когда большой отрезок относится к малому так же, как сумма к большому.

И если взять любое великое произведение искусства, то там

можно найти огромное количество этих золотых сечений. Я не думаю, что художники специально их вычисляли, эти вещи, с помощью линейки. Маловероятно. К тому же обратной силы эта штука, увы, не имеет. Ты можешь как угодно расчерчивать лист золотыми сечениями, искусства из этого не получится.

К тому же в искусстве современном часто сознательно идут на обратный эффект, когда хотят вызвать дискомфорт, привлечь внимание, создать какой-то диссонанс — соотношение сознательно нарушают. Но у кого-то это выглядит божественно, а у кого-то безобразно. И объяснить это невозможно.

То есть, наверное, на любой картине можно объяснить, почему это так, почему это хорошо, а это не хорошо, когда это уже сделано. Но пользуясь этими же объяснениями как инструкциями, ты ничего не создашь.

Я не хочу читать лекцию по истории искусств, но, вообще говоря, на протяжении почти всей истории человечества искусство было достоянием ничтожного процента населения Земли. Это была элита, богатые люди, которые могли себе позволить излишества в виде искусства, начиная с Древней Греции…

Слушайте, все ее население, если не считать рабов, это, наверное, два московских микрорайона Чертаново. Но они каким-то образом практически за три века придумали все, чем человечество пользуется до сих пор. Философию, математику, геометрию, театр, поэзию, скульптуру. Я уверен, что живопись, которая до нас просто не дошла, у них тоже была на высочайшем уровне — мы просто не знаем, как она выглядела. Но ее не могло не быть. У них не могло не быть божественной музыки при таком развитии всех остальных жанров.

Есть несколько ансамблей в мире, которые пытаются воссоздать музыку Древней Греции, потому что сохранились кое-какие ноты, вернее, обрывки нот. Они были совсем другие — это была флажковая система записи звуков, поэтому расшифровать их до конца не удалось. Точнее, существует несколько трактовок расшифровки этих нот. И то, что мы слышим сегодня, это одна из версий. Как мне кажется, очень далекая от оригинала, потому что как звучали их инструменты на самом деле, мы уже никогда не узнаем.

При этом для меня совершеннейшая загадка, почему в языке, которым они пользовались, практически отсутствовали названия цветов. Это притом что архитектура у них была невероятно язычески пестрая. Вот эти храмы, которые в малобюджетных исторических фильмах выглядят белокаменными, то есть такими, какими мы их видим сегодня, — на самом деле были расписные

как пряник, с красными фризами, зелеными антифризами, синими колоннами.

Скульптуры, которые мы привыкли видеть сделанными из светящегося белого мрамора, они раскрашивали как чучела в музее мадам Тюссо, где были нарисованы натуральные глаза, раскрашена одежда. Я подозреваю, что это было ужасно, потому что это были такие макеты людей.

Интересно, что когда эта скульптура вернулась во времена Возрождения, спустя тысячу лет, к Микеланджело, к Леонардо, раскрасок уже не было, потому что то, что дошло до них из Греции и Рима, красок было лишено. Оно было просто в мраморе. И эстетика поменялась — оказалось, что это гораздо более красиво.

Да, надо сказать, что параллельно, конечно, существовало искусство так называемое народное, которое очень далеко отстояло от элитарного. Это были орнаменты, лубки, песни, очень замешанные на религии, как правило, языческой. И это искусство сохранялось без изменений гораздо лучше, потому что оно передавалось от папы к сыну, от бабушки к внучке без изменений.

Удивительно, что по всему миру на сегодняшний день в самых разных точках земного шара народные орнаменты иногда невероятным образом совпадают. Например, орнаменты нашего Севера — Архангельск, Мурманск — и орнаменты индейцев Северной Америки. Ну, я бы еще понял, если бы это была там, скажем, Аляска и Сибирь. А это уже совсем дальние концы.

Тем не менее символика цветовая и символика изобразительная совпадают полностью. И когда тридцать лет назад моя подруга (царство ей небесное) Татьяна Шлык, которая в Архангельске занималась как раз сбором народных промыслов, привезла к вам сюда в Русский музей выставку тканых ковриков, покрывал и прочего, здесь был большой скандал: «Что вы нам выставляете американское искусство?» А она собирала это по деревням.

Перед войной поехала специальная делегация по Архангельской области поменять бабушкам орнамент в вязании, потому что женский знак — лягушечка, ромбик с четырьмя лапками, а мужской знак — свастика, солнце. А бабушки не могли поменять. Они говорили: «Так руки сами вяжут. И по-другому они не идут». И, в общем, как-то плюнули на это и махнули рукой.

Все это, если мы говорим об искусстве вообще, с небольшими изменениями продолжалось где-то до середины XIX века. И потом случился взрыв, который почти все изменил. Во-первых, появились средства массовой коммуникации. И оказалось, что

искусство может быть доступным огромному количеству людей. Бах всю жизнь проиграл в одной капелле, сколько людей его слышало? Ну, тысячи полторы, а то и меньше. И вдруг оказалось, что музыку можно записывать, тиражировать, продавать, крутить по радио, ее услышат миллионы. Это, с одной стороны, дало колоссальный толчок к ее развитию. С другой стороны, здорово ее обесценило, потому что выяснилось, что можно под нее выпивать, разговаривать. Она вообще может быть фоном. А можно нажать на «стоп» или перемотать.

А до этого концерт все-таки был событием. И каждый концерт был уникальным, и люди понимали, что следующий будет уже немножко отличаться. А вот этот уйдет в вечность.

Что касается искусства изобразительного, у меня нет точного ответа, что случилось с человечеством. Вообще у меня вопросов больше, чем ответов.

Мне кажется, что живопись к этому моменту уже накопила такой багаж высочайшего мастерства, что кто-то очень рациональный понял: вот, дальше в эту сторону ехать некуда, высота взята. Значит, это надо сломать. Тогда надо плясать от обратного.

Это еще совпало с волной революций, когда очень большая часть человечества была убеждена, что они, действительно, создают новый и лучший мир. Суть проблемы, видимо, в том, что человечество за очень короткий отрезок времени получило массу технических новшеств: автомобили, самолеты, радио, телевидение, химию — это был взрыв изобретений. (Последним, на мой взгляд, преждевременным подарком стал Интернет.) Логично было бы предположить, что вместе с этим последует такой же взрыв духовного развития человечества. А вместо этого мы получили две мировые войны, миллионы жертв. Как результат — серьезный кризис христианства. Возникают авангардные движения. Авангардные направления в искусстве.

Я всегда считал, что ломать — не строить. И, в общем, история это доказала. Малевич в молодые годы был вполне себе реалистом, рисовал жанровые картинки. Потом он придумал Черный квадрат. Я говорю «придумал», потому что рисовать там нечего. Расчертил и закрасил. Он их, кстати, нарисовал, по-моему, семь штук. Видимо, на всякий случай.

Родился концепт. Оказывается, не важно, как ты это делаешь, а важно, что ты имел в виду. В этом смысле слово «искусство» имеет два значения. Одно значение — это художественное отображение действительности. А второе значение — это высокая планка ремесла. «Он изрядный искусник тачать сапоги», например.

Во все предыдущие века художники обладали высочайшей планкой ремесла. При этом не было вокруг них эдакого божественного ореола, который появился, как только все это разрушилось. «Я художник, я гений, богом поцелованный, и вообще я слушаю музыку иных сфер». Нет. Художники вообще считали себя ремесленниками. И картины продавались исходя из площади холста. Чем больше — тем дороже. Это был один из видов обслуживания высшего класса.

Тем не менее вот это сочетание невероятного мастерства и чего-то еще, что мы называем красотой, и создало шедевры, которые продолжают оставаться шедеврами сегодня. И никто их не переплюнет и, боюсь, уже никогда, потому что человечество поехало по другим рельсам и удаляется все больше и больше.

Я не противник современного искусства. Я вообще не считаю, что стоит делить искусство на современное и несовременное. Надо его делить на искусство и неискусство.

Но вопрос в том, что как раз вот та планка искусства во втором значении, планка мастерства — она не позволяла тебе ошибиться в оценке. С появлением концепта мы вынесли это мастерство за скобки. Сегодня величие художника, его произведения определяются чем-то другим.

Сегодня это масса обстоятельств, где не последнюю роль играют реклама, пиар, галерейщики. В общем, это нормальная международная мафия, которая упорно держится за слово «искусство». В принципе я бы принимал все это, включая самое бездарное, если бы это называли как-то иначе, закрепив слово «искусство» все-таки за тем, что мы понимали под этим веками. А эти вещи давайте назовем, например, «придумки», «хэппининги», «перформансы», «инсталляции»… Как угодно. Потому что «Мерседес» — это автомобиль. И «Ауди» — автомобиль. И даже «Жигули» — автомобиль. А «Зингер» — это не автомобиль. Это швейная машинка. И нечего морочить голову. Но галерейщики отлично понимают, что если они избавятся от слова «искусство», то тут же нолик или два нолика с цены произведения будут убраны.

И еще одна вещь кажется мне очень важной. Все традиционное искусство, как я его понимаю, было про любовь (а концепцию «Бог есть Любовь» я разделяю вполне.) Мадонна с младенцем, «Рождение Весны» Боттичелли, портреты Модильяни — все это про любовь (редкие аномалии вроде Босха не берем). Актуальное искусство бежит от любви, как черт от ладана. Хожу по очередной биеннале, удивляюсь: стеба полно. Про смерть полно. Изобретательности полно. Любовью не пахнет. Что, так все плохо? Или боженька не поцеловал?

Поэтому сегодня, на мой взгляд, довольно легко задурить голову, особенно людям не сильно подготовленным. А подготовленных единицы всегда были, всегда будут.

Интересно, что в музыке, которая тоже напрямую связана с понятием «красота», казалось бы, сложнее разобраться, потому что картина все-таки конкретна, а музыка абстрактна (это просто звуки). Я помню, нас в школе учили: «Вот смотрите, художник нарисовал на этой картине золотую рожь, дорогу, уходящую в небо, за рожью лес». Я все это вижу. «Он хотел этим сказать…» Я думаю: «Какого черта вы мне объясняете? Ну, это же не словарь, я должен чувствовать, что он хотел сказать, я должен получить эмоцию». Поэтому меня всегда изумлял вопрос: «А что вы рисуете?» Художник рисует не что, а как. Ну, вообще искусство — это не про что, а про как. «Про что» — это телефонный справочник.

Сюжет для меня всегда был поводом для передачи своего состояния. А с музыкой удивительно. Я помню, к нам в школу приходил композитор Дмитрий Кабалевский (я еще был совсем маленький). И он удивлялся: «Дети, которые никогда не учились музыке, сразу определяют — вот эта мелодия веселая, а эта грустная. Каким образом?» Я-то нашел ответ на этот вопрос, и он оказался на самой поверхности. Поразительно, что, по-моему, я первый, кому это пришло в голову.

Дело в том, что когда мы говорим, особенно говорим эмоционально, мы никогда не говорим на одной ноте. И если наш голос прогнать через экран осциллографа, мы увидим, что у нас интонация повышается и понижается. То есть мы говорим мелодиями. Если за стеной разговаривают или ссорятся, или милуются два человека, вы не всегда разберете слова, но отлично услышите: они ссорятся или мирятся, веселятся или плачут.

Оказывается, когда человек говорит о веселом, он говорит большими терциями, квартами — это я говорю для тех, кто начальное музыкальное образование имеет. Если говорит о грустном, он говорит малыми терциями. А это грустная мелодия.

Так вот, музыкальная мелодия — это речь, лишенная информации, но наполненная состоянием. И дети это отлично чувствуют, даже не зная, как это устроено.

Оказалось, что с музыкой-то проще. А в изобразительном искусстве до сих пор на массу вопросов у меня нет ответа.

Мы были на гастролях в Америке. Я пошел в Национальную галерею искусств в Вашингтоне. Это потрясающий музей, который поражает размерами, качеством коллекции и, главное, тем, как это экспонировано. Там одна небольшая картина может висеть на очень большой стене. И другие работы не мешают тебе

с ней общаться, и не попадают в поле зрения, пока ты не повернешься. И это очень правильно. И замечательно поставлен свет, которого совсем не видно.

И я в который раз хожу среди работ малых голландцев там и не могу понять, почему вот от этой картины идут мурашки по коже, а от этой нет.

В завершение я вам хочу прочитать притчу из книжки Краковского «День творения». Там несколько притч таких в тексте.

Жили-были две сестры. И были они близняшки. И все у них было одинаковое — и глаза, и волосы, и рост, и голос. Только одна была красивая, а вторая — нет. Поэтому люди, которые умели видеть красоту, их различали, а остальные путали.

Вот, собственно, все, что я вам хотел рассказать. А теперь мне будет очень интересно с вами побеседовать, потому что я уверен, что у вас вопросов на эту тему не меньше, чем у меня.

Слушатель: Какое самое последнее потрясение от красоты?

А. МАКАРЕВИЧ: Ну, это хороший вопрос. Дело в том, что когда это происходит, я как-то не ставлю себе какую-то метку, я не фиксирую, что вот здесь в этом месте, в это время я был потрясен тем-то и тем-то. Я не настолько самовлюбленный идиот, чтобы таким образом фиксировать собственную жизнь.

Я думаю, что, наверное, это было связано все-таки с природой. Мы путешествовали по Новой Зеландии. Я предполагал, что это прекрасное место, но не представлял себе, насколько. Ну, помимо того, что их национальная идея — это сохранение экологии и сохранение природы в нетронутом состоянии (там олени ходят свободно по лугам, как у нас собаки бездомные), она еще географически расположена таким образом, что там какие-то совершенно доисторические субтропические леса сменяются лесами северными, а чуть дальше начинаются горы. Горные реки и озера невероятной прозрачности, где плавают огромные рыбины.

Это неописуемо словами вообще. Я просто… Я так порадовался, что на Земле еще остались такие места. Мы-то всю Землю угробим, конечно (дайте только время). Но я думаю, что Новая Зеландия будет последним островком, где это случится.

Слушатель: То есть вы, все-таки, за красоту нерукотворную?

А. МАКАРЕВИЧ: Я и за красоту рукотворную тоже. Мне часто мешает наслаждаться владение профессией, поскольку я сам рисую, я начинаю сразу смотреть, как это сделано. Особенно если меня это тронуло, я пытаюсь понять, а за счет чего? И это, кстати, мешает. Вот лучше бы этим не заниматься, а просто получать удовольствие. Я пытаюсь разбираться. Это помимо воли

происходит.

Слушатель: Есть ли у вас внутри красота? И как вообще вам удается сохранять спокойствие, стойкость и блюсти внутреннюю красоту?

А. МАКАРЕВИЧ: Красоты внутри у него было немного, граммов 70–75. Я не знаю, что это за красота, которая должна быть внутри. Наверное, она есть у каждого человека. Я не берусь ее определить — она проявляется в определенные моменты человеческой жизни, наверное, его действий, его поступков. Но о себе я тут говорить не могу.

…Я никогда не ставил себе задачу понравиться всему человечеству. Я не пряник. Вот ей-богу. Даже если это будет абсолютное меньшинство, мне его будет вполне достаточно, потому что качество мне важнее количества.

Слушатель: Красиво ли под водой? И можно ли подводный мир считать настоящим воплощением красоты?

А. МАКАРЕВИЧ: И подводный, и надводный мир можно считать чистым воплощением красоты. Просто подводный мир еще меньше изгадили пока. Хотя работают над этим уже. Он на сегодняшний день лучше сохранился. И я вам хочу сказать, что я, конечно, завидую сегодняшним молодым людям, которые, заинтересовавшись этим, имеют полную возможность все увидеть и испытать на себе. Я-то сошел с ума, когда в кинотеатрах показали первый фильм Кусто «В мире безмолвия». А было мне, наверное, лет пять с половиной. И все, что я смог, это заставить папу и маму купить мне ласты и маску, «Комплект № 1» называется. На этом все кончилось, потому что я прекрасно понимал, что никогда я не увижу тропических рыб, акул и китов, у меня даже аквалангa никогда не будет, потому что это невозможно.

И все сбылось спустя много-много лет. А сейчас я беру с собой человека. Он быстро, за пять дней проходит курс молодого бойца, погружается вместе со мной и за один день видит то, к чему я шел 25 лет там или 30. Это обидно по-человечески, согласитесь.

Слушатель: Вот, я тоже говорю о красоте. Кроме того, что актриса, я уже очень много лет преподаю в Академии театральных искусств в Санкт-Петербурге. Во-первых, мы читаем все ваши книги, связанные с тишиной, с музыкой… Все прекрасно. Но, к сожалению, сегодняшние дети (обольщаться нельзя) и родители — они не отличают этих тонов Баха от Моцарта, Шопена. Вы же отличаете английский язык от немецкого? Это они слышат. Музыку они практически не слышат. Не слышат родители. И вот сегодняшняя встреча — она

замечательная. Но сидят люди, которые, все-таки понимают что-то про это и знают. Есть ли какая-то возможность организовать программу, как ни странно, когда мэтры или ваши ученики не по аквалангу выходили бы к детям, да? Вот, какая-то должна быть огромная проведена в стране работа, потому что тут уже надо работать и с родителями, которым сейчас всего-то 36–40 лет, да? И с детьми.

А. МАКАРЕВИЧ: Вы абсолютно правы. Это опять цепочка, в которой нет разрыва. Дело в том, что это дети тех родителей, которые не знают и не умеют до детей донести то, что следует. Если человек сам не очень разбирается и не очень любит музыку, он не сможет сделать так, чтобы его ребенок эту музыку полюбил, если просто ребенок случайно вдруг богом не поцелован. Рождаются гениальные дети, но не часто.

Это сложнейшая задача. Мы начинаем учить детей поздно. Они сегодня, по-моему, с грудного возраста уже все фиксируют, все запоминают. И я не знаю, как быть с теми родителями, которые не в состоянии дать своим детям представления о красоте, потому что, вообще говоря, красота — не только искусство, не только музыка. Это, как кто-то здесь правильно сказал, еще и красота внутри. Красота поведения, красота поступков, красота выбора пути, в конце концов.

Слушатель: Готовы ли вы как Юрий Борисович Норштейн, например, вести для детей уроки музыки? Вот он ведет уроки живописи для детей. А вы бы вели уроки музыки, чтобы они отличали… Я, правда, не очень верю, что Шопена от Баха дети не отличают.

А. МАКАРЕВИЧ: Я боюсь, что преподаватель — это особый талант. Это очень непростая профессия, и у меня нету какого-то очень важного качества. Я однажды на протяжении нескольких месяцев преподавал рисунок детям, больным костным туберкулезом. Они должны были по полгода там, по году иногда лежать в достаточно трудных позах. Поэтому все, что им было доступно, они очень ценили. И они были такой, повышенной восприимчивости ко всему, что им приносят. И все-таки, я в какой-то момент себя ловил на том, что мне не хватает элементарного терпения, потому что надо уметь открыть каждую дверцу. Если меня понимают, то… А кто-то нет. Значит, с ним надо быть терпеливее. Этого качества мне не хватает.

Как говорил у нас в институте замечательный наш преподаватель рисунка: «Ну, вот, вас 18 обалдуев. Вы хотите, чтобы я вас научил рисовать. Но я от силы могу научить двух. Пойдемте пиво попьем?»

Слушатель: Вопрос у меня очень прикладной. У каждого

петербуржца много любимых мест в Петербурге, но все равно у каждого есть, поскольку город наш замечательный и самый красивый, как мы считаем. У вас есть место в Петербурге, которое вы считаете самым красивым? Просто любопытно.

А. МАКАРЕВИЧ: Первый раз меня сюда привез отец. Мне было лет семь. Он приехал в командировку. У вас только еще сделали вот эти желтые ртутные лампы, которые подсвечивали биржу, Генштаб. В Москве еще все было темно, тогда еще не был ни Кремль подсвечен, ничего. А отец у меня занимался светом. И еще были надписи «Бомбоубежище» по Невскому. И вот я ходил и восхищался, как здорово осветили центр Питера, как это красиво. Был страшный мороз. Это я запомнил на всю жизнь.

А потом мы всегда приезжали с Московского вокзала, и, значит, ежась, выходили на Невский и шли вниз. Вот это происходило зимой, летом. Слева на улице Марата жил Боря Гребенщиков еще тогда. В общем, все как-то было рядом, и вот эта першпектива Невского от Московской площади — она для меня какая-то очень дорогая. Не было растяжек с рекламой и все было такое немытое, древнего такого римского цвета, очень пыльное. И что-то в этом было декадентское, достоевское и очень трогательное. Я это помню.

Слушатель: С годами ваше ощущение красоты и ваше чувство красоты усилилось или притупилось?

А. МАКАРЕВИЧ: Я не знаю, каким прибором это мерить. Наверное, чем ты больше знаешь и больше видел, тем ты спокойней. Потому что когда тебя первый раз что-то поражает, это вообще не с чем сравнить. И для тебя это абсолютно. Когда ты второй раз с этим сталкиваешься, ты это сравниваешь со своим первым впечатлением. А когда это происходит в 500-й раз, у тебя уже огромная поляна для сравнений. Но это не значит, что нет больше вещей, которые не могут тебя потрясти. Это всегда неожиданно и вот в этом-то сила искусства и есть — там, где ты меньше всего это ожидаешь.

Слушатель: Я — студент Архитектурного университета, я архитектор будущий. Как вы относитесь к сегодняшним архитекторам, дизайнерам, архитекторам? Для вас это красота, то, чем они занимаются?

А. МАКАРЕВИЧ: Я очень люблю архитектуру вообще и архитекторов. Это замечательные люди. Я думаю, что, вот, если бы мне сейчас там было 19 лет и я бы заканчивал Архитектурный институт, я бы, наверное, из профессии не ушел, потому что сегодня гораздо больше возможностей. Когда учились мы, был ужасный контраст между тем, что нам рассказывали, и тем, что люди делали. У нас была потрясающая библиотека, где были все

современные архитектурные журналы мира. И нам говорили: «Идите, смотрите, срисовывайте, читайте, возьмите кальку и копируйте». А потом ты заканчивал институт с очень смелым каким-то проектом, попадал в строительную контору типа Моспроект и тебе говорили: «Значит, вот так, есть шаг колонн 6 на 6, 9 на 9 и 12 на 12. И вперед».

Я работал в институте «Гипротеатр» семь лет. Это, в общем, было престижное место — они проектировали театры, клубы. Я туда пришел, они проектировали драмтеатр в Новгороде. Я там поработал семь лет и ушел, а они еще проектировали драмтеатр в Новгороде. То есть работа над театром продолжалась лет пятнадцать. Это чудовищно.

Я вообще нетерпеливый человек, я считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы вот так вот над чем-то засиживаться.

Сейчас все по-другому. Сейчас огромное количество материалов, технических возможностей, заказчиков, кстати говоря. Так что сегодня быть архитектором интересно.

Слушатель: А что-то из современного, может быть? Что-то из… Ну, памятниками не назовешь, но, тем не менее, из произведений современной архитектуры вас впечатлило за последнее время, я имею в виду в России? Ну, может быть, за ее пределами?

А. МАКАРЕВИЧ: Было построено несколько красивых спортивных сооружений в Казани, но это вещи специфические достаточно. Сочинская вот эта штука огромная, где происходило открытие, она производит впечатление, когда не на фотографии. Я был на открытии живьем. Это мощнейшая такая вещь, очень лихо нарисованная и очень технологичная.

Но вообще, обезличивается архитектура современная, наверное, за счет глобализации. Меня совершенно потряс Шанхай, потому что это какой-то XXII век. Это такие гигантские здания, их такое количество. И непонятно, как это сделано. Но их проектируют американские и европейские архитекторы, строят их китайцы.

Манхэттен на глазах из суперсовременного архитектурного сооружения превратился в ретропамятник, потому что всем этим небоскребам уже 50, 60, 70 лет. И они такие трогательные, ретрушные.

А рядом строят новые небоскребы. Они красивые, но они уже никакие. Вот у них запаха не останется этого, который есть у тех, у старых. Они унифицированные.

Слушатель: Скажите, пожалуйста, мне очень близко то, что вы говорили о красоте, о современном искусстве, о мафиях, которые существуют в галерее, в совете галерейщиков. Мне сразу

вспомнился Бродский, который говорил, что банды современных архитекторов опустошают старинные города успешнее, чем Люфтваффе, да?

Но не кажется ли вам, нет ли у вас тревоги насчет того, что, современное искусство, которое, согласитесь, достаточно агрессивно распространяет себя вокруг, что оно, в конце концов, заполонит все и убьет в человечестве вообще всякое воспоминание о той красоте, о которой вы говорили?

А. МАКАРЕВИЧ: Оно не заполонит по той причине, что продолжает оставаться элитарным. Чтобы быть дорогим, надо быть элитарным. То есть все-таки эти огромные деньги и эти имена крутятся в довольно тонком слое коллекционеров, музеев и галеристов.

Коврик с лебедями всегда останется — он никуда не денется. А что касается городов… как сказал Корбюзье, дом — это машина для жилья. Город — это большая машина для жилья. И он все равно не вечен. Пока люди в нем живут, он будет меняться. Мы можем бороться за то, чтобы вот это прекрасное здание сохранили, а это, так и быть, сломали. Но что-то все равно будут ломать, иначе каждый город на каждом отрезке истории придется превращать в музей. Это было бы здорово, но это невозможно.

Слушатель: Меня зовут Ирина, я как раз тот родитель, который многое чего не знает сам и пытается вместе со своим ребенком чему-то научиться, научить этому его.

Проблема такая. Вот, смотрите, человек любит ходить в Эрмитаж, смотреть что-то, видеть, слушать. Но когда мы приступаем к рисунку, он может две недели подряд рисовать фиолетово-желтую грушу и все. И дальше с этого места не сдвинуть. Точно так же, как и с музыкой: человек начинает учить гамму, и дальше ему скучно и он не хочет.

Так вот у меня вопрос. Я боюсь ребенка сломать, уничтожить его внутреннюю мотивацию и интерес к музыке. Потому что я помню свои воспоминания в детстве, когда меня водили в музыкальную школу.

А. МАКАРЕВИЧ: Так я свои помню — то же самое. Ужас.

Слушатель: Так вот мне интересно, как вы сохраняете свою внутреннюю мотивацию, как у вас проходит творчество? Есть ли у вас какой-то, так скажем, момент, когда вы понимаете, что нет сил, но нужно? И какое ваше отношение к тому, как нужно поступать в этой ситуации с детьми?

А. МАКАРЕВИЧ: Ломать никого не надо, ради бога. А совет здесь дать практически невозможно, потому что дети все очень разные. И даже в маленьком возрасте у них интерес к этому разный. Вот дочка моя младшая с удовольствием ходит в

музыкальную школу. Для нее очень важно выступить на каком-то там конкурсе, сыграть лучше всех. Я никогда такими амбициями не обладал, а вот она готовится. И она с удовольствием играет по нотам. Я терпеть этого не мог. Вот в этом смысле мы с ней абсолютно разные.

Что касается рисования, как помочь ребенку? Натолкнуться на то, что его заинтересует? Не знаю. Надо с ним общаться, задавать вопросы. В конце концов, не все должны вырасти художниками. Это совсем не обязательно.

При этом я убежден, что каждый человек в принципе в потенции умеет рисовать. Просто не все об этом догадываются.

Слушатель: Прошу прощения, Андрей Вадимович… Мне кажется, что самая большая проблема, когда ты что-то делаешь, начинаешь рисовать или играть музыку, ты пробуешь и понимаешь, что у тебя не получается, это отвратительно и продолжать нет сил просто, потому что это ужас какой-то.

А. МАКАРЕВИЧ: Ну, переключиться надо на денек-другой, потом продолжить.

Слушатель: Большое спасибо за ваше творчество и за этот вечер. Мы уже начали разговор об архитектуре, и вы потихонечку начали приводить примеры того, что же для вас красота. Можно ли попросить вас привести хотя бы пять примеров таких явлений-камертонов из разных сфер искусства, которые вы считаете красивыми?

А. МАКАРЕВИЧ: Никому ничего не навязываю. Здание биржи у вас на Стрелке. Художник Боттичелли. И как ни странно, рядом Модильяни. Вот, я вижу у них что-то очень близкое. Андрей Рублев. Ну, на самом деле, много можно имен перечислять и это будет звучать достаточно банально, потому что, в общем, человечество, слава богу, как-то в общем и целом знает, что у него красиво, что нет, и здесь Америку открыть трудно.

Слушатель: У меня вопрос про то, что болит лично у меня. Я такой человек, апокалиптического склада сознания, и мне кажется, что жизнь страшна. Ну, слишком многое говорит о том, что мир, который прекрасен, может рухнуть. Стоит ли в нем искать сейчас красоту? Может быть, нам надо просто подумать о его спасении? То есть, условно говоря, мы на краю пропасти красоты ли? Вот, как-то так.

А. МАКАРЕВИЧ: Однажды Сергей Васильевич Рахманинов уже ближе к концу жизни в Америке вышел на концерт, сел к роялю, просидел несколько секунд, закрыл крышку рояля и ушел. Концерт не состоялся. Был большой скандал.

На следующий день его атаковали журналисты. Все: «Что случилось, Сергей Васильевич?» Он сказал: «Знаете, я уже

приготовился играть, а потом вдруг подумал: а стоит ли жить, если ты должен умереть?»

Понимаете, мир во многом такой, каким мы его хотим видеть, каким мы его себе представляем. Он и ужасен, он и прекрасен. Он содержит в себе все цвета спектра, еще многое из того, чего мы не видим в силу своего несовершенства. Надо думать о хорошем.

Я абсолютно убежден, что негативными мыслями мы отчасти программируем наше будущее. Когда я увидел по телевизору, как в эти близнецы американские врезается самолет, первая мысль у меня была: «Елки-палки, как похоже на кино, которое мы видели сотни раз, вот эта военная фантастика». Понимаете, да? Мы все уже смоделировали.

У меня есть неосуществимая мечта. Лучше всего, конечно, это сделать в Новый год. Там будут проблемы с часовыми поясами, но, в принципе, это можно решить. Хотелось бы, чтобы все человечество, по возможности все человечество одновременно, налило себе небольшую рюмочку того, что оно любит (кто что), подумало о хорошем. А ведь мы думаем об одном и том же хорошем — чтобы был мир, чтобы дети не болели, чтобы родители были живы, — и одновременно выпили. И я уверен, что мир вздрогнет и повернется в лучшую сторону. Я бы очень хотел это осуществить.